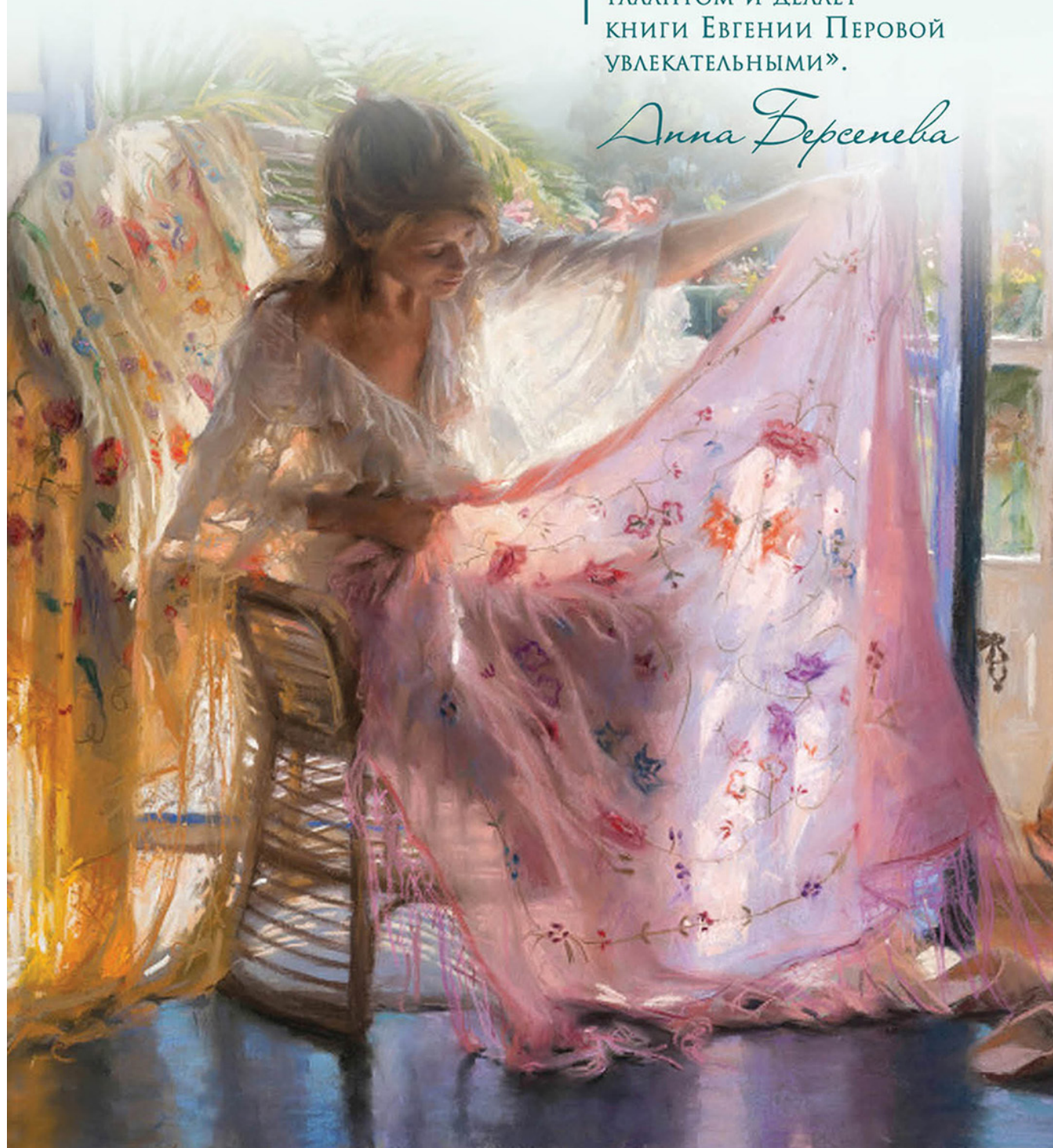


ЕВГЕНИЯ ПЕРОВА

Индийское лето

«ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ
И ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ
ВАЖНЫ ДЛЯ МЕНЯ В
ЖИЗНИ И В ЛИТЕРАТУРЕ.
СОЕДИНЕНИЕ ЭТИХ КАЧЕСТВ
С ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫМ
ТАЛАНТОМ И ДЕЛАЕТ
КНИГИ ЕВГЕНИИ ПЕРОВОЙ
УВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ».

Анна Берсенева



Евгения Перова

Индийское лето (сборник)

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Перова Е. Г.

Индейское лето (сборник) / Е. Г. Перова — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-04-092267-3

Она протянула ему ладонь – Леонид взял ее как-то странно, двумя руками, и легонько потряс, потом поцеловал. Они посмотрели друг другу в глаза – обоим вдруг стало ясно, что все не так просто: не зря они разговоры разговаривают, не зря смущаются. Лёня и Лёля... Мягкое, ласковое «л», навязчиво повторяющееся в именах, сплетающее их между собой в замысловатый узор, казалось Лёле знаком судьбы... В сборник Евгении Перовой вошло семь новелл, в которых, как и в новелле «Царь Леонид», герои пытаются найти формулу любви.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-092267-3

© Перова Е. Г., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Царь Леонид	6
Он войска свои покинул...	22
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Евгения Перова

Индийское лето (сборник)

© Перова Е., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Царь Леонид

*Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою...*

Песнь Песней царя Соломона

Мне всегда трудно дается первая фраза. Она появляется не сразу – прячется за частоклоном образов, теряется в паутине слов, и часто только подойдя к концу повествования, я нахожу ту первую, единственную и неповторимую. А ведь это очень важно – первое слово! Первый вздох, первый шаг, первый взгляд...

Точно так же, только дописав текст до конца, я понимаю, о чем он.

Хотя, наверно, лукавлю: ведь все, что я пишу, об одном – о Любви.

Так как же мне начать эту историю?

Может быть, так: «Алла Львовна умерла в понедельник...»

Нет, мрачно.

А может быть, просто с начала: с первого взгляда и первого слова?

С полуслова...

* * *

...а потом появился Царь Леонид – так прозвала его острая на язык Маруся, соседка и подруга Аллы Львовны. Лёля и раньше его встречала: пару раз он приходил к Алле Львовне с женой – шумной и громогласной Сонечкой, Софьей Сергеевной. Она преподавала литературу в школе, обо всем говорила резко и безапелляционно, а Леонид только морщился и лишь иногда тихонько ей бормотал:

– Ну что ты такое говоришь, Сонечка...

– Я знаю, что говорю!

Лёля видела – ему неудобно. Леонид ей нравился – высокий, крупный, слегка похожий на Шаляпина, он носил очки и курил трубку, что очень ему шло. Преподавал на филфаке МГУ, знал несколько языков, много читал, и Лёля как-то раз поспорила с ним о романе Лилиан Войнич «Овод», который он называл «садистской книгой», а Лёля возмущалась. Однажды Леонид пришел один, без Сонечки, и случайно оказался за столом рядом с Лёлей. Они вдруг заговорили о Вирджинии Вульф – Лёля никак не могла достать прошлогодний номер «Иностранки», где была опубликована ее «Миссис Дэллоуэй», а Леонид читал этот роман по-английски. Оба увлеклись и проговорили весь вечер. «Какой он милый! – думала Лёля, потихоньку разглядывая Леонида. – Царь, конечно, но Царь сказочный, игрушечный – плюшевый такой, уютный! И кажется, что не очень уверен в себе...» А Леонид вдруг замолчал, снял очки и, протирая привычным движением стекла, сказал:

– Зря вы мне это позволяете...

– Что позволяю?!

– Говорить. Я же заговорю вас насмерть!

Они ушли вместе и всю дорогу разговаривали, и никак не могли расстаться, все провожали друг друга: то Леонид Лёлю до подъезда, то Лёля его до метро. Наконец, в очередной раз дойдя до крыльца, Лёля сказала:

– А пойдете ко мне! Что мы все ходим туда-сюда? Я вас кофе угощу! Готовлю я плохо, но кофе делаю хороший!

Леонид снял очки – Лёля уже заметила: он так делал всегда, смущаясь – и тихо произнес:
– Боюсь, что уже поздно... Жена, наверно, волнуется.

Лёля страшно покраснела – она только сейчас сообразила, как двусмысленно прозвучало ее приглашение: какой ужас, теперь он бог весть что обо мне подумает...

– Да-да, конечно, я не сообразила... Ну, прощайте!

Она протянула ему ладонь – Леонид взял ее как-то странно, двумя руками и легонько потряс, потом поцеловал. Они посмотрели друг другу в глаза – обоим вдруг стало ясно, что все не так просто: не зря они разговоры разговаривают, не зря ходят туда-сюда и никак не могут расстаться, не зря смущаются. В эту ночь Лёля долго маялась без сна – все перебирала в памяти сказанные слова, взгляды, улыбки. И улыбалась сама: Лёня и Лёля – это же нарочно не придумаешь! Лёня и Лёля, Леонид и Елена, Леонид Павлович и Елена Михайловна, Леонид Павлович Полторацкий и Елена Михайловна Лебедева... Эта невольная аллитерация – мягкое, ласковое «л», навязчиво повторяющееся в именах, сплетающее их между собой лиловой синелькой, – казалась Лёле знаком судьбы. И встретились у Аллы Львовны!

Он позвонил через три дня, позвал на выставку, потом Лёля его пригласила в театр, так это и тянулось до самой зимы – встречались, бродили по Москве, пили кофе в Филипповской булочной на улице Горького, кормили воробьев на бульварах. А на зимних каникулах все и случилось: они праздновали Рождество у Аллы Львовны, потом долго гуляли под медленно падающим снегом, а когда прощались у дверей, Леонид ее поцеловал, она ответила, привстав на цыпочки, и поцелуй получился таким серьезным, что после него надо было либо сразу расставаться, либо... Они попытались сделать вид, что ничего такого не произошло, и Леонид пошел было к метро, а Лёля вошла в подъезд, ощущая невероятную печаль – физически ощущая, как тяжкий груз на плечах, но не успела закрыть дверь лифта, как Лёня вернулся. Они целовались в лифте, целовались перед дверью квартиры, которую она с трудом открыла, целовались в коридорчике... А потом ничего не вышло. Совсем.

– Да, не гожусь я, видно, в герои-любовники...

– Лёничка, ну что ты! Просто мы оба переволновались! И я плохо старалась, наверно. У меня очень давно ничего такого не было...

Он хмыкнул:

– Знаешь, у меня тоже. Наверно, мне лучше уйти...

– А ты не можешь остаться?

– Вообще-то могу.

– А как же?

– Она с классом в Ленинград уехала и детей взяла. Так что остаться могу, да что толку...

– Не уходи, пожалуйста! Давай просто полежим рядышком. Обними меня...

Он вздохнул – и остался на ночь. Горела елочная гирлянда, лениво мигали разноцветные лампочки, поблескивали стеклянные шары и серебряная мишура, а старый Дед Мороз улыбался им из-под еловой лапы – елка была живая.

– Мне нравится, как ты пахнешь! – сказала Лёля и потерлась носом о его плечо.

– Табаком...

– А мне нравится! Давно ты трубку куришь?

– Давно, лет... лет пятнадцать уже. У меня борода была под папу Хэма и вот – трубка.

– И свитер был? Грубой вязки? Вылитый Хемингуэй! А почему ты бороду сбрил?

– Старый стал. Борода седая.

– Ты не старый совсем, что ты!

Он опять вздохнул:

– Зря мы, Еленочка, все это затеяли, я думаю. Видишь, и не получилось ничего...

– Лёня, да я же не претендую ни на что! Из семьи тебя уводить я же не собираюсь... Просто... так одиноко...

– Да.

– А дети твои на кого похожи?

– Сын – на меня, дочка – на Сонечку. А у тебя... Ты была замужем?

– Я? – Лёля вдруг рассмеялась. – Была! Представляешь, я забыла! Полтора года продержалась, потом надоело. Да и не надо было выходить. А через год встретились с ним случайно на улице, поздоровались на ходу, и я долго вспоминала – кто это, где я его видела? Представляешь? А ведь полтора года прожили! Как не бывало...

– А детей не было?

– Не было. И не будет. Никчемное я существо.

– Ну что ты!

– Да что ж, это правда. Скоро сорок, детей нет, толку нет...

– Больше не стала замуж выходить?

– Нет. Ты знаешь, я как-то всегда про себя знала, что не гожусь для этого...

– Почему?!

– Не знаю. Я и за... Господи, как же его? Толя! За Толю вышла вслед за сестрой – они с Глебом, папиным аспирантом, поженились, вроде и мне надо! Она мне Толю и сосватала: такой, говорит, перспективный! Перспективный...

– А потом?

– А потом... Потом любовь у меня была. Была, да уехала. В Израиль. Он считал, что я его предала, а мне казалось – он меня...

– Грустно как...

– Да уж. Ты знаешь, мы с ним даже внешне похожи были – он роста небольшого, лохматый. Ты говоришь, у меня волосы, как дым, а у него пламя было, черное пламя, такие волосы. Глеб говорил: этот, твой – дыбом волоса! Не знаю, поженились бы мы с ним, нет. Но ехать я не могла, никак. Что мне там делать?! И тут – Леру бы подвела, зятя. Антошка, племянник, совсем еще маленький был, цеплялся за меня: «Нёня, Нёня!» Из Леры плохая мать получилась. Не знаю, может, и правда, я Сашку мало любила...

– А он?

– Он-то? Он взял и женился.

– Как женился?!

– Так. Вывез кого-то с собой.

– Что, фиктивный брак?

– Кто его знает. Я так оскорбилась...

Лёля даже не хотела его провожать, но в последний момент все-таки решила поехать в аэропорт. Ничего хорошего из этого не вышло: все были пьяны, Сашка валял дурака, эта женщина, его жена – откуда он ее взял?! – плакала. Прощаясь, тревожно заглянул ей в глаза, поцеловал, хотел что-то сказать... Махнул рукой и ушел. Навсегда. А Лёля, добравшись до Москвы, целый день каталась на троллейбусе по Садовому – шел дождь, стекла запотели, она рисовала пальцем на стекле сердце, пронзенное стрелой, а в голове крутились какие-то стихотворные строчки: «И разомкнется... Упрямых рук твоих кольцо... Усталых рук твоих кольцо... И разомкнется усталых рук твоих кольцо... В кольце Садовом отразится мое печальное лицо...»

Приехала домой, вошла, разделась – Антошка болел ангиной, и Лера просила побыть с ним: ей нужно на какую-то важную встречу, а Лёля забыла. Прошла в комнату – Лера говорила по телефону, стоя спиной к двери, и не заметила, а Лёля с недоумением услышала, как сестра медовым голосом поет в трубку:

– Ну прости, прости, Генчик, я скоро буду! Сестра опаздывает, поганка! Что я могу поделывать!

Генчик?! Лера повернулась, увидела сестру, вспыхнула, быстро завершила разговор, оделась и выскользнула за дверь. К любовнику! Это было так ясно, словно Лера сама об этом ска-

зала, и Лёле стало жалко зятя. Они давно уже жили как кошка с собакой, особенно отношения обострились после того, как Леру выбрали комсоргом и она ловко выжила из отдела Инессу Матвеевну, старейшую сотрудницу – а Глеб, ее ученик, узнал и устроил страшный скандал, после которого они не разговаривали почти полгода. И вот теперь! Лёля пошла к Антошке – несчастный, с замотанным горлом, с торчащими вихрами, он сидел в кровати и смотрел на нее красными глазами: опять плакал! Лёля обняла его, поцеловала:

– Ну, что такое? Горлышко болит? Солнышко мое...

Так они и жили. Потом, довольно скоро, Лера устроила ее в жилищный кооператив, даже оплатила первый взнос – только молчи, так поняла это Лёля. Она и молчала. Сначала скучала по Антошке, потом привыкла...

– Лёничка, а ты почему женился? На Соне?

– Ты знаешь, она такая хорошенькая была, звонкая, живая, я как-то и не заметил, что... Да нет, она не дура! Просто... такая... прямолинейная, что ли. Правильная слишком. И пионерского задору в ней много. А так она хорошая, детей любит, школу свою обожает. Во, завучем недавно назначили...

– А ты... ты изменял ей?

– Было пару раз. Она как дочку родила – совсем... совсем успокоилась. Все на детей ушло, на работу.

– А ты заброшенный...

– Да уж, сирота.

– Вот видишь. И что такого, если мы чуть-чуть согреем друг друга? Поддержим? Разве плохо?

– Поддерживать друг друга? – он грустно усмехнулся. – Немного солнца в холодной воде...

– Ты тоже любишь Франсуазу Саган?! Я так зачитывалась! И – надо же! – она в девятнадцать лет свою «Грусть» написала, в девятнадцать! А я... Ты знаешь, я еще в детстве говорила, что буду писательницей! Маленькая, только читать научилась, а туда же. Сидела в коридоре на сундуке – большой такой сундук, малиновым сукном накрытый, сукно колючее, а я сижу, ногами болтаю и мечтаю: стану писательницей!

– Косички у тебя были?

– Нет, лысая! Я болела много, вот и подстригли под нулевку. Это потом уже кудри такие выросли. Лера, сестра, завидовала ужасно – ей накручиваться приходилось, а мне не надо. А я ей завидовала...

– Да, волосы у тебя красивые!

– Мелким бесом, как няня говорила.

– В тебе что-то есть такое, знаешь... библейское! Маленькая Рахиль... или Суламифь...

– Да нет, вряд ли что-то библейское. Откуда ему взяться-то? Все предки деревенские – Рязань, Тверь. Если только татарское... Я на маму похожа, она такая же была. Лера на папу, а я на маму. Маленькими мы с сестрой были как близнецы, хотя и пять лет разницы, а потом поменялись.

– Так что ты про Франсуазу Саган-то?

– А! Я завидовала ей – просто ужасно! Я ведь всю жизнь что-то пишу, но... такое беспомощное, мне кажется. Может, ты бы почитал? Ой нет, не надо! Вдруг не понравится, а мне тогда лечь да помереть! Я ведь дневники веду бесконечные, письма писать обожаю... Для меня писать – как дышать! И что?! Ни-че-го! А она! В девятнадцать лет – и такой роман! А у меня как будто кипит что-то внутри, а выхода нет, понимаешь? Один пар... Что? Что ты... на меня... так смотришь?

А Леонид любовался: полуголая, едва прикрытая простыней, она с воодушевлением рассуждала о литературе, размахивая руками – волосы развеваются, глаза горят, щеки пылают,

грудь трепещет, – в радужном свете елочных огоньков она казалась каким-то сказочным существом... Черт возьми!

– Ты думаешь, что я... что ты... ах!

Он прервал ее поцелуем, и все, наконец, получилось. И очень даже впечатляюще. Потом это у них так и называлось – «поговорить о Франсуазе Саган».

Когда уходил утром – оглянулся: Лёля стояла у окна. Помахали друг другу, и Леонид пошел к метро. За ночь навалило снегу, дорожки не успели расчистить, он шел по целине, оступаясь, и казался Лёле сверху – с высоты пятого этажа – Амундсеном, пробивающимся к Южному полюсу. А у Леонида было чувство, что он уносит Лёлю с собой, как котенка за пазухой, но чем больше он удалялся от Лёлиного дома, тем быстрее таяло это ощущение, и он вдруг вспомнил нелюбимого Евтушенко: «с душой, как с девочкой больной в руках, пустевших постепенно»...

Сонечка была его второй женой. Первая... как же ее звали?! Не хуже Лёли, Леонид забыл имя: Майя? Нонна? Лариса? Рано поженились, еще студентами, сразу поняли, что погорячились, но если бы не Римма... Господи, конечно же Римма! И как он мог позабыть! Если бы не Римма, он никогда бы сам, первый, не рискнул разорвать брак. Была в нем какая-то инерционность – попав в колею, он никогда не мог из нее выбраться. А может, это простая лень? Суетиться – митуситься, как говорила бабка, – он не умел.

Было потом два романа – даже не романа, а так, нечто невразумительное: короткая связь с лаборанткой на кафедре – к счастью, она быстро уволилась и пропала из его жизни, после чего Полторацкий вздохнул с облегчением; и более серьезные «отношения» с молодой преподавательницей с соседней кафедры, Ириной Евгеньевной. Она вообще была чрезвычайно серьезна: обожала выяснять эти самые «отношения», мучила его походами в консерваторию – Леонид честно пытался вникать, но быстро засыпал под всяких Малеров и Линдеманов. Слуха у него не было никакого. Потом появился доцент Сергеенко, «отношения» осложнились еще больше – теперь их приходилось выяснять еще и с доцентом! Леонид не знал, как дать понять Ирине Евгеньевне, что с радостью готов отпустить ее на все четыре стороны – хоть к Сергеенко, хоть к кому! Как-то это все развязалось: Ирина Евгеньевна совершенно неожиданно вышла замуж за поляка и уехала в Варшаву, а доцент приходил к Полторацкому плакаться в жилетку...

После этого Леонид долго был один, не очень этим и тяготясь, пока не появилась аспирантка Сонечка – он выздоравливал от воспаления легких, Софья пришла к нему домой на консультацию, огляделась по сторонам, потом, засучив рукава модной трикотажной кофточки – она называлась «лапша», и как он это помнит! – моментально сварила суп и вымыла полы. Кандидатскую она так и не защитила – родился Витя, до того ли было! Потом появилась Галочка, потом Софья устроилась в школу – как раз Витя пошел в первый класс, так что она присматривала за ним и в школе. Витя был копией отца – такой же спокойный и отрешенный, «вещь в себе», как называла его Софья. Он все переживал сам, не жалуясь никогда ни на что, хотя Леонид подозревал, что ему приходилось в школе несладко – а как же, сын учительницы! Витя преуспевал в математике и физике, а гуманитарные предметы ему не давались никак, к огромному огорчению матери: литература – это основание, на котором строится гармоничная личность! А Полторацкий с некоторым даже трепетом думал, как, каким образом преподносит она бедным детям русскую классику?! А ведь университет окончила! Галя училась хорошо, лучше брата, но все время скандалила с матерью – дети обожали отца и тяготились материнским бесконечным командованием: я знаю, что говорю!

– Ну почему, почему она такая?! – кричала Галочка, потрясая кулачком. – Папа, она ничего, ничего не понимает, ничего!

Лёня пытался как-то защищать Соню перед детьми, да ему и на самом деле было ее жалко: она так искренне уверена в собственной правоте, так наивно верила во все советские идеалы, не допуская даже мысли о каких-то других жизненных ценностях; так энергично

насаждала «разумное, доброе, вечное» – как она любила все эти штампы! – что учащиеся ее недолюбливали и побаивались, о чем она и не подозревала. Ей казалось – все ее любят.

Лёня не раз с горечью спрашивал себя, как его угораздило на ней жениться: ничего общего не было у них, ничего! Как-как! Плыл по течению, как всегда. Поначалу он еще разговаривал с ней, просвещал – тоже «сеял разумное и вечное», но бесполезно. Соня слушала, кивала, поддакивала и не слышала ничего, занятая собственными мыслями, а стоило ему замолчать, как она заводила свое, школьное, учительское: все она кого-то обличала, все расследовала какие-то интриги и происки.

– Школа – это же передовая линия идеологического фронта!

– Боже мой, Соня, ну что ты говоришь...

– Я знаю, что говорю.

Когда умер Брежнев, она плакала – и тоже совершенно искренне. Тогда они страшно поругались – Леонид кричал: что ты оплакиваешь этого бровеносца в потемках! А Соня испуганно спрашивала: что же теперь будет со страной, Лёня?! Софья с энтузиазмом восприняла свое назначение завучем, а Галя – с ужасом: ей и так было нелегко существовать между однокурсниками и матерью.

– Папа, ты знаешь, как они ее называют?! Эсэс! Софья Сергеевна – Эс-Эс!

Галя плакала, а у Леонида сжималось сердце: бедная, бедная Галя! Бедная Соня... Они давно уже не спали вместе, но Соня была абсолютно уверена, что у них замечательный брак, крепкий и надежный, «ячейка коммунистического общества», и Полторацкий просто не представлял, что с ней будет, если она вдруг узнает о Лёле! Правда, про два небольших приключения на стороне, бывших до Лёли, она так никогда и не узнала. Это действительно были маленькие приключения, не имевшие никаких последствий – после Ирины Евгеньевны Полторацкий очень боялся еще раз вляпаться в «отношения»: одно приключение случилось в Ленинграде во время командировки, и женщину эту – филолога из Томского университета – он больше никогда в жизни не видел. С другой – аспиранткой-психологиней – он познакомился в библиотеке: они встречались изредка на протяжении нескольких месяцев, потом разбежались и, случайно попадаясь друг другу на глаза в университете, делали вид, что незнакомы – она была замужем за деканом.

Но Лёля... Им так редко доводилось видеться – хорошо, если раз в две недели. Полторацкий, чувствуя себя персонажем «Осеннего марафона», выдумывал несуществующие заседания кафедры, конференции, мифические семинары – счастье, что Соня не вникала и верила всему. Но чем дольше тянулась эта связь, тем чаще он ловил себя на мечтах о Лёле – нечаянно задумывался посреди лекции, под перешептывания студентов, или во время воскресного обеда, машинально кивая на Сонины бесконечные: «Нет, ты представляешь?!» – у нее шла затяжная война с преподавателем истории, которого она подозревала в скрытом диссидентстве.

– Что тут смешного? – восклицала Соня, а он вздрагивал, приходя в себя и убирая с лица рассеянную улыбку: перед глазами стояли смуглая Лёлина спина с цепочкой позвонков и длинная шея с поднятыми вверх пышными волосами, которые она, скрутив жгутом, придерживала рукой. Волосы у нее были темные, но с намеком на рыжину – как будто там, под волосами, светились раскаленные угли, давая красноватый отблеск. Глаза зеленовато-карие, миндалевидные, с такими черными ресницами, что ей и не надо было их красить. Прямой нос, изящно очерченные губы, смуглая кожа, маленькие руки, тонкие запястья и щиколотки – в Лёле действительно чувствовался какой-то Восток ей шли длинные серьги, кольца и звенящие браслеты. Суламифь, маленькая Рахиль...

А Лёля, сидя дома с книгой, вдруг поднимала голову и улыбалась, глядя на телефон: через пару секунд раздавался звонок – Леонид звонил с какой-нибудь ерундой, просто чтобы услышать ее голос. Только с тобой я – это я, сказала она как-то, и Леонид чувствовал то же самое.

Каждый раз, когда Лёля продолжала, подхватывая на лету его мысль, Полторацкий поражался этому чуду взаимного понимания:

– Знаешь, Зинаида Гиппиус говорила: если надо объяснять – не надо объяснять! Парадоксально, но верно, правда? Человек либо понимает тебя, либо нет...

– Да, и не объяснишь ничего никогда.

В один промозглый осенний вечер Леонид позвонил и сказал, что никак не может прийти, хотя обещал. «Никак не получается, ты не обидишься?»

– Нет-нет, что ты! – воскликнула Лёля. – Все в порядке, не расстраивайся, в другой раз придешь – как сможешь, так и придешь. Нет-нет, я не буду унывать, что ты. Целую.

Она повесила трубку и заплакала. Слезы сами лились из глаз, она шмыгала носом, долго искала носовой платок, потом пошла в ванную и там еще поплакала, уткнувшись в полотенце, и на кухне поплакала, роняя слезы в чашку с чаем, и никак не могла утешиться, а потом раздался звонок в дверь и все-таки пришел Лёня! Увидев ее зареванное лицо, он сказал:

– Я так и знал.

Они обнялись и долго стояли в коридоре. В этот вечер они почти не разговаривали – а что скажешь? Ничего не скажешь, и так все понятно. Они оба знали цену слову, знали его материальную силу, и пока не было произнесено вслух то, что пряталось в самой глубине души и оживало при первом же взгляде и прикосновении, еще можно было делать вид: ничего особенного, а что такого? Мы просто знакомы... так странно... Самым дорогим, самым важным было это первое объятие в коридоре после долгой разлуки – чистое счастье, которое тут же начинало идти на убыль вместе с тиканьем часов: Леонид больше ни разу не оставался у Лёли на ночь. В этот день, сидя на постели и застегивая пуговицы на рубашке, Лёня печально сказал:

– Может быть... все-таки... мне развестись?..

Хотя совершенно не представлял, как он войдет и скажет: Соня, я развожусь с тобой! Даже страшно было подумать, что будет с ней, с детьми! Лёля обняла его:

– Ты же не сможешь... Ты будешь мучиться... И я...

Потом снова заплакала, уткнувшись ему в шею:

– Прости меня, прости... Я не хотела, правда... Я не знала, что так получится... Прости меня!

– Не стою я тебя. Ни одной твоей слезинки не стою...

– Ну что ты говоришь!

– Я знаю, что говорю. – Он вспомнил жену и совсем расстроился.

– Ты не думай, я не плачу все время, правда. Это просто сегодня день такой. Лёничка, я же все понимаю, я заранее все знала, только ты – я тебя умоляю! – не затевай ничего, не надо, я прошу тебя! Пусть все как есть, так и будет. Ничего, как-нибудь.

И он повторил со вздохом:

– Как-нибудь...

– Правда! Давай мы не будем... как это ты говоришь? Митуситься! А вот как сказать правильно: я что делаю? Митусюсь? Или митушусь, а?

– Митусюсь? Да что ты мне голову морочишь! Ах ты, митусюсь ты эдакая...

И они засмеялись оба.

Посреди ночи Лёля проснулась. Сердце колотилось, как сумасшедшее, а она, широко раскрыв глаза, всматривалась в полутьму: ее разбудила картинка, яркая и живая, которая светилась перед глазами, не давая покоя – сад, вечер, август... Август! Скороговоркой пронеслось цветаевское: «Полновесным, благосклонным яблоком своим имперским, как дитя, играешь, август, как ладонью, гладишь сердце именем своим имперским... Август! – Сердце!» Только что прошел дождь, капли тяжело падают на землю с ветвей... По узкой дорожке идет к дому высокая темноволосая девушка в длинной юбке, с шалью на плечах, в руках у нее гитара...

С невысокого балкончика смотрит молодой человек с сигаретой – огонек вспыхивает в полумраке... Пахнет дождем и – горьковато – астрами и рыжими бархатцами...

Лёля встала и, как была – в ночной сорочке, босиком – села к столу, включила лампу, достала тетрадь, карандаш... Слова ложились на бумагу сами, легко стекая с карандаша, и Лёля еще успевала удивляться тому, что с ней происходит: вот оно как! Так вот оно что! Все ее прежние сочинения представлялись ей теперь именно «сочинениями» – школьными, вымышленными: выдумывала, старалась, строила сюжет! Ничего этого, как оказалось, и не надо – просто сесть к столу и записывать все, что льется сквозь тебя мощным потоком! Герои были живые, она чувствовала их изнутри, они жили сами, сами говорили, а ей оставалось только быть незримым свидетелем, летописцем их жизни.

Она узнала и сад, и девушку – давно мучилась этой историей, а теперь вот – увидела! Лёля увидела комнату, освещенную ярким желтым светом, застолье, во главе стола немолодая женщина с породистым бледным лицом – высокий пучок, длинные серьги... Именинница! Гости... Гости потом. Девушка, что шла по саду, вот же она! Темные волосы забраны в хвост, грустные глаза... Удивительные глаза – цвета спелой черники! Саша! Пусть ее зовут Саша! Так, все потом – подробности, правка, переделка... Сейчас главное – успеть записать. И где же... А, вот он! Андрей... Племянник хозяйки...

Андрей все время поглядывал на Александру – никак не мог понять, какого цвета ее глаза. Почему-то это было важно. Все уже не один раз выпили, закусили – особенно удались пироги, а холодец-то, холодец! А я так селедочку очень даже уважаю... Андрюша, передай-ка салатик...

– Саша, – сказала тетя Аня, – спой что-нибудь!

– Спой, доча! Душа просит! – закричал сидящий напротив Андрея седой краснолицый Михалыч, давний теткин приятель – его жена, похожая на пеструю курочку, дергала мужа за рукав:

– Ну Коль! Не шуми!

– А я что? А я ничего...

Александра взяла гитару, настроила, задумалась, потом, быстро взглянув на Андрея, запела неожиданно низким, каким-то цыганским голосом:

*Не говорите мне о нем:
Еще бывшее не забыто;
Он виноват один во всем,
Что сердце бедное разбито...*

У Андрея мурашки побежали по коже, а Михалыч смотрел на Сашу, разинув рот, в каком-то оцепенении восторга:

*Ах! Не говорите мне о нем,
Не говорите мне о нем!*

Саша пела спокойно, негромко, без надрыва, тонкие пальцы ловко перебирали струны, шаль соскользнула с одного плеча:

*Он виноват, что я грустна,
Что верить людям перестала,
Что сердцем я совсем одна,
Что молодой я жить устала.*

*Ах, не говорите мне о нем,
Не говори...*

– Тамара! Вылитая Тамара! – закричал вдруг Михалыч, еще больше покраснев: слезы стояли у него в глазах. Жена, тоже вся розовая от неловкости, хватала его за руки, он не давался – упала на пол тарелка, разлилась рюмка...

– Тамара! Зачем, зачем ты ушла! Ааааа...

Саша быстро выскользнула на балкон, Андрей потоптался и вышел тоже, захватив ее шаль – вечер был прохладный. Он прикрыл дверь, сразу стало тихо. Саша стояла, облокотившись о перила – плакала, догадался он. У Андрея было странное чувство, что, войдя в балконную дверь, он вошел в Сашину жизнь – зачем, зачем мне это, именно сейчас?! – подумал он, накрывая ее плечи шалью.

– Спасибо.

Потом, вздохнув:

– Тамара – это мама моя. Она умерла недавно, еще года нет. А дядя Коля ее любил очень, всю жизнь.

– Я понял.

Они помолчали.

Сад дышал влагой, свежестью, пахло яблоками и осенними рыжими цветами, названия которым он не знал никогда – горьковато, тревожно, обещающе. Срывались с веток капли, стучали по листьям, по низкой кровле. «Как же это? – пытался вспомнить Андрей. – Как там у Пастернака? Капнет и вслушивается... Один ли на свете... Нет, не так! Мнет ветку в окне, как кружевце...»

Как же там у Пастернака? – думала Лёля. – Ладно, спрошу потом у Лёни...

– Ужасный! Капнет и вслушивается, – медленно произнесла Саша. – Всё он ли один на свете мнет ветку в окне, как кружевце, или есть свидетель...

И Андрей продолжил, испытывая это странное чувство обреченности, ве́домости – куда, к чему, зачем:

– К губам поднесу и прислушаюсь, всё я ли один на свете, готовый навзрыд при случае, или есть свидетель...

– А ведь ты меня не узнал, правда?

– Не узнал... – ответил он растерянно.

– Помнишь, зима была? Мы с тобой, маленькие совсем, с крыши в сугроб прыгали?

– С крыши в сугроб?

– Ну да! Сначала с этого балкончика прыгали, но тетя Аня прогнала, тогда мы с сарая стали, а там сосед заругался, ружьем пугал, мы убежали... Не помнишь?

У него что-то зашевелилось в голове, какие-то смутные воспоминания:

– У тебя шапочка была... с ушками?

– Да! И ты котиком меня называл – эй, котика!

– Ну да, я же думал, – ты мальчик Саша! Так удивился потом, что девочка...

Он вспомнил и зиму, и «котика», и прыжки в сугробы – три или четыре года подряд мама привозила его к тете Ане на зимние каникулы, почему-то только зимой. А потом он попал сюда уже почти взрослым – десятый класс окончил, точно! Экзамены сдал в институт. В начале августа и приезжали – на именины тетки. И Саша! Сколько ей тогда было? Лет четырнадцать? Пятнадцать? Они так мучительно стеснялись друг друга, что боялись даже смотреть, а уж когда нечаянно столкнулись в дверях, убирая со стола, покраснели оба

не хуже нынешнего Михалыча! Саша была совсем тоненькая, как тростиночка – того гляди переломится... Господи, сколько же лет прошло?

– А я ведь тетю Тамару помню! Черная такая, на цыганку похожа, лицо темное – я боялся ее. Хотя красивая, очень!

– Да, мама уверяла, что у нас прабабка – цыганка. Послушай, давай уйдем? Только мне не хочется через них проходить...

Андрей заглянул через окно – Михалыч утихомирился, разговаривают все, закусывают...

– Давай тут слезем? Невысоко! И бочка там стоит внизу, можно ногу поставить! Прыгали же в детстве, не боялись?

– Так это в сугроб... Ну, давай попробуем...

Андрей перелез через перила – где там эта бочка? Сейчас и ухну в нее... Но нашел, нащупал ногой, встал на бортик – давай! Поймал ее и осторожно спустил, попутно стряхнув на себя всю воду с веток растущей под балконом сирени. Так и стояли, ёжась – ее руки у Андрея на плечах, его – на тонкой Сашиной талии.

– Ой!

Вдруг сильно забило по головам крупными редкими каплями – схватив Андрея за руку, Саша помчалась по саду, он бежал за ней, не разбирая дороги, наконец, прибежали куда-то: маленький домик в углу сада. Ворвались внутрь и засмеялись, задыхаясь – успели вымокнуть.

– Кошмар! Есть у тебя зажигалка? Посвети!

Андрей зажег огонек, Саша нашла огарок свечи в жестянке, зажгла. Домик был совсем крошечный – две узкие железные кровати уместились и маленький столик.

– А чем это тут так пахнет?

– Помидорами! Тетя Аня снимает их зелеными, а тут доходят...

Он и сам увидел: подоконник, столик и одна кровать были заложены крупными помидорами – некоторые уже розовели, а на другой кровати стоял тазик с яблоками.

– Это гостевой домик.

Саша сняла тазик на пол и забралась с ногами на кровать – брр, зябко! Он тоже сел рядом, потом обнял ее за плечи, согревая.

– А помнишь, как ты мне голову морочил маленькими человечками? Говорил, живут у вас на чердаке?

– Ага, и водил тебя смотреть! Вон, вон полетел! А ты: где, где?!

– Я долго верила в человечков! А помнишь, ты летом сюда приезжал, после школы?

– Помню. Как мы шарахались друг от друга!

– И не говори! А мама сказала, что ты больно гордый – ишь, и не взглянет.

– Тяжело тебе без мамы? Я свою пять лет назад похоронил, отец сразу за ней ушел...

– Бедный! Ты знаешь... Мама тяжелым человеком была, нервным. Папа сбежал, не выдержал, я его даже не виню, с ней никто бы не ужился. Болела она тяжело, уходила мучительно. Господи, думала я, за что ей такое, за что?! И казалось мне, что станет без нее легче...

– Не стало?

– Сейчас еще ничего – вон видишь, даже петь могу! А первое время... Так держала она меня! При жизни держала и после смерти не отпускала... Новый год, праздник у всех, а я одна, как перст. Легла спать, а утром, первого января, взяла и поехала сюда, на кладбище – ее здесь похоронили. Тут бабушка у нас, двоюродная... почти девяносто ей, а справляется сама со всем, представляешь? Приехала, и, не заходя к бабушке, пошла. Снегу чуть не по пояс, лезу... А день солнечный, яркий, морозный...

Саша рассказывала, и он все видел: солнце, синее небо с белыми облаками, слепящий снег, золотые стволы сосен – снизу черные, выше золотые. Заснеженные ветки встряхиваются,

как живые, роняя снежные пласты... И две огромные черные птицы медленно парят среди сосен – вóроны!

– Я села там в снег и вдруг почувствовала – еще до могилы не дошла, а почувствовала: отпустила она меня. И так остро я ощутила жизнь! Всем... всем существом своим, каждой клеточкой. Сижусь в снегу и плачу: какое счастье – жить! Никогда раньше... такого не было...

Они даже не заметили, что уже не сидят, а лежат рядом. Сашины влажные волосы пахли чем-то лесным – опенками, мхом? Ее дыхание обжигало ему щеку – Андрей чуть повернулся и поцеловал приоткрывшийся ему навстречу рот, потом еще... Потом опомнился.

– Саша, Сашенька... Я же уезжаю через неделю! На полтора года...

– Я знаю. Я все про тебя знаю...

– Зачем нам это?

– А если не спрашивать – зачем? Просто жить! А вдруг мы потом жалеть будем?! Что струсил?! Ты разве не чувствуешь, что с нами происходит?

– Да! – сказал он. – Да, происходит.

Саша встала, сняла юбку, кофточку – он смотрел, как она стоит перед ним, белея тонким обнаженным телом, потом разделся сам, обнял ее крепко – и это оказалось так... правильно, что он даже вздохнул:

– Никогда не верил, что такое бывает!

– Видишь, бывает...

Лёля писала до самого утра, потом в изнеможении рухнула на кровать и заснула. На работу она не пошла, отговорившись простудой, и писала опять целый день, забывая, что надо поесть – хватала в задумчивости кусок хлеба и грызла, стряхивая крошки с тетради. Это было словно наваждение, болезнь – все эти две мучительные недели Лёля ощущала, как чья-то сильная рука держит ее за воротник: пиши! Она ходила на работу и, прячась за шкафами, продолжала писать. Потом, наконец, выздоровела – вещь иссякла, закончилась, завершилась. Получилась маленькая повесть, и тот первый кусок, с которого все началось, ушел в середину. Лёля перепечатала текст на машинке, правя по дороге – как не свой, чужой, другим человеком написанный, потом дала прочесть Алле Львовне, веря ее непредвзятому мнению и тонкому вкусу.

– Ну что ж, поздравляю: это настоящее!

– Правда? Вы правда так думаете?!

– Правда. Крылья есть. Лёня-то не читал еще?

– Нет, я боюсь...

Она боялась. Написанная Лёлей история не имела ничего общего с их собственной жизнью, но каждая строчка текста – каждое слово, каждая запятая! – словно кричала о ее любви к Леониду. Он читал, а Лёля ушла на кухню, и оттуда следила мысленно за медленным продвижением его по тексту: вот сейчас он читает про балкон... Сейчас про домик... Вдруг ей стало стыдно за сцену любви – не слишком ли откровенно? Не пошло ли?! А встреча героев после разлуки – наверно, это чересчур сентиментально?! А... Лёня пришел к ней и просто молча обнял. Так долго молчал, что Лёля не выдержала и спросила жалобно:

– Ну как? Очень плохо?

Он улыбался и смотрел нежным взглядом:

– Ты знаешь, вряд ли я сейчас смогу сказать тебе что-то вразумительное!

– Почему?!

– Я прочел на одном дыхании! Для меня твой текст – это ты сама, понимаешь? Не могу же я тебе сказать: вот эта бровь, правая, нравится мне больше, чем левая?! Или: указательный палец тебе удался, а мизинец – не очень, еще поработать надо!

Лёля смеялась:

– А если серьезно? Хотя что-нибудь скажи, я же волнуюсь!

– Мне кажется, это хорошо. Очень хорошо! Воздух есть, дыхание... Легкое дыхание! Я еще раз прочту, ладно? А то тоже волнуюсь. И я... Я понял.

Лёля увидела, как дрогнуло его лицо – да, он понял. Потом, через неделю, он вернул ей рукопись всю исчерканную – Лёля так и ахнула: ничего себе!

– А сказал хорошо.

– Так и есть – хорошо! Просто ты еще не отошла и не видишь разные мелочи, а мне видно. Не обижайся, посмотришь – спасибо скажешь.

Лёля посмотрела. И сказала спасибо! Леонид прошелся частым гребнем, выловив повторы, оговорки, опечатки, а один абзац перечеркнул карандашом: вот это я бы выкинул, но смотри сама...

– А как тебе сцена в домике? Не очень смело? А то оно написалось, а я потом засомневалась...

– Смело! Робко, я бы сказал! Ты что, эротики никакой не читала?

– Лёня, где ты у наших писателей эротику видел?!

– А Бунин? Куприн?

– Я говорила про советских!

– Советских! Нашла на кого равняться. Надо теперь куда-нибудь твой «Август» пристроить...

– Ты знаешь... Так странно, но мне все равно – напечатают, нет. Это было такое счастье – писать! Мука, конечно, но и счастье. И я боюсь: а вдруг это все? Не повторится больше? И боюсь, что повторится...

– Да, повезло тебе! Ангел поцеловал. А я ни разу в жизни ничего похожего не испытывал. Не дано. И ты знаешь, я теперь как-то... успокоился. За тебя. Пусть мы не можем... но ты... ты теперь не пропадешь.

– Да, правда! У меня такое же чувство! Раньше я одна была... С тобой, но...

– Я понимаю.

– А теперь я с Музой... Смешно звучит, напыщенно, но я так чувствую. Она за плечами стоит, понимаешь? И в спину кулачком: пиши!

– Тогда уж с Музом...

– Это ты – мой Муз!

– Да уж, старый, лысый, толстый, в очках... Вылитый Муз!

– Ты не старый! И не толстый! Ты... Ты лучше всех! Ты...

И Лёля заплакала, обнимая его – ничего, ничего не надо! Ей показалось, что хитрая судьба искушает ее, подсовывая замену, отнимая любовь и давая взамен вдохновение. Нет, не нужно! Ничего – ни вдохновения, ни опьянения творчества, ни радости завершения, ничего – только быть с ним, вместе, всегда... до конца.

Пока они были так заняты друг другом, мир вокруг постепенно менялся, и скорость перемен нарастала – котел бурлил, и взрыв приближался. И Лёля, и Леонид всегда были далеки от политики, от идеологии, избегая как только можно всего советского, краснознаменного – всего того, что Лёня называл «пионерским задором». Они оба жили книгами, и Леонид любил цитировать Пушкина: не для житейского волнения, не для корысти, не для битв – мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв!

Он был слишком ленив для каких-то активных действий, да и скептически относился к «роли личности в истории», считая – вслед за Марком Твенем, – что все будет так, как должно быть, даже если будет наоборот. Он даже как-то ухитрился стать профессором, так и не влившись в ряды КПСС – помогла репутация ленивого пофигиста, книжного червя, не приспособленного к жизни. Да и специалиста лучше Полторацкого на кафедре не было.

Но теперь заинтересовался происходящим и Лёня: стал смотреть по телевизору репортажи со съездов, хотя каждый раз это кончалось дикими ссорами с Соней, а после того как

она, сидя на диване, топала ногами в поддержку депутатам, освистывавшим Сахарова, Лёня перестал с ней разговаривать вообще. У него заболело сердце, когда он увидел седого нелепого человека, упорно и косноязычно пробивающегося к правде сквозь свист и улюлюканье зала, и впервые в жизни он подумал, что, пожалуй, и один в поле воин. Если этот воин – Сахаров. Смерть Сахарова он оплакивал искренне, как смерть близкого человека, и, несмотря на мороз, отправился вместе с Лёлей прощаться – они прошли весь скорбный путь от Пироговки до Фрунзенской, в тесной толпе людей, и никогда раньше Полторацкий не видел таких удивительных лиц. Лёля жадно смотрела по сторонам, впитывая впечатления – он знал, она ведет подробный дневник: ты что, история совершается на наших глазах! Впрочем, Лёля очень не хотела, чтобы он с нею шел: мороз – ты простудишься и заболеешь.

– А ты – нет?!

– А я – нет.

И правда, она никогда не простужалась, он же вечно мерз, руки и ноги зябли, а Лёля была горячая, и, когда ложились вместе, она мгновенно согревала его своим маленьким телом. Он все-таки пошел: должна же у меня быть своя битва при Фермопилах!

– При чем тут Фермопилы?!

– А как же! Чем знаменит царь Леонид? Ну, историк?

– У меня тройка по античности, я не помню!

– В энциклопедии написано: за десять лет своего царствования Леонид не сделал ничего знаменательного, но обессмертил свое имя сражением при Фермопилах. 480-й год до нашей эры, что б ты знала. Я тоже за всю жизнь ничего знаменательного не сделал. Пусть хоть это.

Лёня не простудился, но спустя месяц упал и сломал ногу, да так неудачно, что пришлось ставить какие-то спицы, потом вытаскивать, нога сгибалась плохо, он завел себе трость, стал бояться гололеда, да и по лестницам поднимался с трудом. Лёля узнала о том, что Лёня в больнице, от Аллы Львовны – и похолодела: ей впервые пришла в голову мысль о том, что он может умереть, а она и знать не будет! И наоборот... Ей стало так страшно, что она на секунду потеряла сознание – отключилась, провалившись в черный колодез ужаса. Потом долго сидела на диване, глядя в одну точку, и просила – неизвестно кого, неизвестно о чем: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста... Пожалуйста!

Они смогли увидеться только через три месяца, когда он хоть как-то стал передвигаться, и Лёля ходила с ним на процедуры – сидела в коридоре, провожала до метро. Все это тянулось до лета, а в июле у Сони случился первый инсульт: она увидела по телевизору, как Ельцин кладет на стол президиума партбилет и уходит прочь по длинному проходу – захрипела и повалилась на пол. Потом Лёля попала в больницу с почечной коликой, и Лёня пришел к ней с пакетом яблок. Они сидели рядышком на жесткой скамье в коридоре и молчали – а что говорить? Все понятно и так. Жизнь растаскивала их в разные стороны, властно и неумолимо, и каждый думал: если так, пусть лучше он будет жив и здоров... пусть она будет жива и здорова... пусть порознь, пусть не вместе... лишь бы жил... лишь бы жила...

– Береги себя, хорошо?

– Постараюсь... – сказал он грустно.

– Ты сможешь звонить?

– Если я не буду тебе звонить, я не выживу...

Они выжили, оба. Потом случился август 1991-го: ГКЧП на фоне «Лебединого озера», Янаев с трясущимися руками, броневики на Садовом... Витя срочно чинил разысканную на антресолях старую «Спидолу», чтобы слушать «Голос Америки» и ВВС; Лёля – конечно же, кто бы сомневался! – была у Белого дома; Галя и Витя там же; а Соня, только было оправившаяся, окончательно растерялась и не понимала уже ничего: кто прав, кто виноват и что делать?! Ее мир рухнул, и Леониду было ее даже жалко. Родись она пораньше, сложила бы свою голову

на плахе или сгнила в Сибири, думал иногда Полторацкий, столько было в ней слепого фанатизма – боярыня Морозова, Вера Засулич!

И вот уже Ельцин, стоя на танке Таманской дивизии, перешедшей на сторону защитников Белого дома, произносит свое воззвание; возвращается «фаросский сиделец» Горбачев, стаскивают с постамента бронзового Дзержинского – свобода, свобода, свобода! И развевается российский триколор на здании Дома Советов...

Митинги, похороны троих мальчишек, погибших 21 августа на Садовом – Кричевского, Комаря и Усова... Боже мой, и Витя мог бы, и Галя! А Лёля?! Как он умолял ее не лезть на рожон! Нет, куда там: блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые!

Митинг на Манежке, длинная процессия, медленно идущая по Калининскому, и Лёля там, а он не мог, не ходил никуда, болела нога, да и Соню боялся оставить: у нее нервный срыв. Но Лёля все ему рассказывала по телефону:

– Ты знаешь, когда Ельцин вышел к нам из Белого дома и сказал... Со слезами на глазах сказал: дорогие мои! Я совсем рядом была, я видела! Мы заплакали все, правда! Такое было чувство единения, общности, как тогда, у Сахарова, помнишь? Но сильнее и светлее, понимаешь?!

Они еще встречались тогда, редко, но встречались. Потом все реже и реже, но зато часами разговаривали по телефону – один раз посреди ночи вошла Соня, постояла, он прикрыл трубку рукой, спросил: чего тебе? Она ушла. Леонид давно переселился на кухню, спал там на диване – все равно вставал раньше всех. Жизнь неслась стремительно, по Жванецкому: встал – лег, встал – лег, с Новым годом! Соня все работала в школе, хотя из завучей ее поперли: привычно скандалила, борясь за справедливость, и сеяла разумное, доброе, вечное в собственном понимании. Она стала как-то неряшлива, забывала причесываться, ходила, не замечая этого, с отпорванным подолом и обо всем рассказывала по пять раз подряд, по кругу. Леонид работал как проклятый, денег не было катастрофически, он хватался за все: появлялись уже какие-то гранты, один раз ему удалось на три месяца съездить с лекциями в Штаты, но, пока его не было, у Сони совершенно съехала крыша: она была уверена, что он не вернется, потому что завербован ЦРУ. Витя блестяще окончил институт, начал вдруг зарабатывать какие-то деньги, совершенно невероятные для их нищего семейства, и Соня подозревала его в криминальных связях, а Галя переживала одну несчастную любовь за другой. Соня кричала: принесешь в подоле – прокляну!

Они встретились с Лёлей только через пять лет, на похоронах Аллы Львовны.

Когда Полторацкий увидел ее, в черном платочке, со свечой в дрожащей тонкой руке – отпевали у Ильи Обыденного, – он задохнулся от горя и нежности. Выйдя из церкви, остановился – Лёля подошла, подняла на него заплаканные глаза, погладила по щеке – милый мой, милый, милый... Пока автобус вез на Ваганьково, успели немножко поговорить:

– Как ты?

– А ты?

– Нога беспокоит?

– Как твои почки?

– Господи, о чем мы говорим!

– Что ж делать, годы...

– Да какие наши годы! Ты нисколько не изменился!

– Ты мне льстишь. Вот кто не изменился, так это ты.

– Ой, а у меня книжка вышла, знаешь!

– Поздравляю, ты молодец, я всегда в тебя верил!

– Как дети, Соня?

– Дети хорошо. Да ничего, все нормально.

У Сони был второй инсульт. Он не стал рассказывать Лёле – зачем? Только лишние волнения. На кладбище он держал Лёлю за руку, но на поминки не поехал: болела нога. Душа болела. Лёля плакала все поминки – об Алле Львовне, о Лёничке, о себе, о неудавшейся жизни. «Лёня так постарел!» – думала она. Морщин у него было мало, но полысел, похудел и как-то выцвел – раньше он был весь бело-розовый, как зефир, Лёля так его и дразнила, а теперь розовое почти ушло, осталась какая-то перламутровая бледность, и глаза стали прозрачнее – плохо вижу, сказал, читаю иногда с лупой... Вспомнилось прошедшее, и так стало больно, так больно!

Вернувшись с кладбища, Полторацкий прилег на диван, вытянув усталые ноги – пришла дочка и села рядом, взяв его руку. Она была так похожа на Соню – молодую Соню, что он вздохнул, а дочка прижала его ладонь к своей щеке:

– Папочка... Устал?

– Есть немного. Как тут мама?

– Да ничего, все в порядке. Сейчас спит. Как ты с ней справляешься?! Может, мне чаще приходиться?

– Пока мы справляемся. Когда тебе чаще приходиться, ты и так крутишься белкой в колесе...

Дочь поцеловала его в бледную щеку.

– Мама такой тяжелый человек, тебе всегда трудно было с ней. А уж сейчас... Вы настолько разные, я все думала, почему вы поженились? Что вас связывало?

– Вы – то, что нас связывало! – Леонид горько усмехнулся. – Вы, дети.

– Пап, а почему... Почему ты тогда не ушел? У тебя же был кто-то? Не знаю, как Витка, а я бы тебя поняла...

Галя вдруг замолчала: она вспомнила, как после очередной ссоры с матерью – опять, опять из-за этой проклятой политики! – отец заметался по квартире, потом выскочил в коридор и стал надевать ботинки, путаясь в шнурках. Она не поняла сначала:

– Папа... папа, ты что! Ты куда? Ты что... из-за этой ерунды?! Папа...

Она заплакала – у отца было такое лицо, что Галя поняла: сейчас он уйдет навсегда!

– Папа!

Вышел Витка, молча смотрел. Матери было не видно и не слышно. Отец постоял, глядя на них – они таращили испуганные глаза, как два птенца, – потом тяжело вздохнул и опять надел домашние тапки.

– Пап, – сказал тихо Витя. – Давай в шахматы сыграем, а?

Весь вечер они играли в шахматы, Галя сидела рядом, смотрела – играли медленно, долго раздумывали, отец смотрел только на фигуры, потом пришла мать, робко позвала их ужинать, они с Виткой пошли, но Галя оглянулась и увидела, как отец заплакал, зажав рот рукой... Да, сейчас она его поняла бы, но тогда!

– Откуда ты знаешь?! Что у меня кто-то был?

– Я видела тебя с ней, случайно. В кафе на Горького. Сначала не поняла – ну мало ли! А потом увидела, как вы друг на друга смотрите! Ты ее руку прикрыл своей ладонью, а потом поцеловал. Это было... Это было так прекрасно! Папочка, бедный! Ты же любил ее, правда?! – Я и сейчас ее люблю, – ответил он и отвернулся к стене, закрыв глаза.

* * *

Может быть, этим и закончить? Пусть читатель сам додумывает, как сложатся судьбы героев... Я встаю и подхожу к окну – там идет снег, медленный новогодний снег. И улыбаюсь, потому что слышу шаги – он тоже не спит, он никогда не может заснуть, если меня нет рядом. Вот сейчас подойдет, прихрамывая, положит мне руки на плечи:

– Опять сочиняешь, полночица?

А я поцелую его холодную бледную руку – озяб, бедный! Ну, пойдем, я тебя согрею...

– Ты знаешь, – скажет он, пока мы бредем, обнявшись, по коридору. – Мне тут пришли в голову некоторые мысли по поводу творчества Франсуазы Саган...

И мы рассмеемся.

Он войска свои покинул...

*Что хочешь от меня, ты, песни нежный хмель?
И ты, ее припев, неясный и манящий?
Ты, замирающий, как дальняя свирель,
В окне, растворенном на сад вечерний, спящий?*

Поль Верлен

Тетрадка была совершенно необыкновенная! Толстенькая, но узкая – своим золоченым обрезом и светло-коричневым кожаным переплетом с застежками она напоминала старинный манускрипт. Тетрадку Глебу Алексеевичу подарила внучка. И Глеб Алексеевич знал зачем. Вдохнув, он открыл тетрадь и задумался: с чего же начать? Наверно, со знакомства? Или с женитьбы...

* * *

Женился Глеб в двадцать семь лет на Лере – старшей дочери своего научного руководителя, Михаила Николаевича Лебедева. Мих Ник, как его звали студенты, с первого курса относился к Глебу Сотникову по-отечески – он всегда мечтал о сыне. Да и мальчик хороший: умный, способный, так и тянувшийся к знаниям, а ведь вырос в неблагополучной семье. Отца у Глеба, считай, что и не было: пил по-черному, и мать из сил выбивалась, чтобы прокормить троих детей. А Глеб влюбился во всех Лебедевых сразу: благополучная профессорская семья, богатая библиотека, интересные разговоры, налаженный уютный быт – Раиса Семеновна, добросердечная супруга Мих Ника, тоже приветила неухоженного и вечно голодного юношу. Воскресные обеды у Лебедевых поразили неискушенного Глеба в самое сердце: белая скатерть, крахмальные салфетки, суп из фарфоровой супницы, водка в хрустальном графинчике...

Очарования семейству добавляли две прелестные дочки – когда Глеб впервые появился в доме Лебедевых, Лере было двенадцать, а Лёле – семь. Девочки подрастали у него на глазах: сначала они до смешного походили друг на друга, словно младшая была уменьшенной копией старшей, но потом Лёля переболела тяжелой ангиной и, выздоровев, изменилась – теперь она все больше напоминала мать, в отличие от сестры, которая пошла в отца. Волосы у Лёли стали виться: во время болезни ей обрили голову, после чего вдруг выросли кудри, которым Лера страшно завидовала, а Раиса Семеновна, проведя изыскания в семейных альбомах, заявила, что Лёля удалась в двоюродную бабушку – действительно, на фотографиях та щеголяла пышной копной мелко выющихся волос.

На самом деле Глеб вовсе не собирался жениться так рано: он еще не защитил кандидатскую и жил в общежитии на стипендию, подрабатывая где только можно. В доме Лебедевых его принимали как родного: Раиса Семеновна не могла надышаться на Глебушку, который всегда помогал ей по хозяйству, а обе девочки, как казалось Глебу, были слегка в него влюблены. Ему гораздо больше нравилась Лёля, фантазерка и выдумщица, чем «воображала» Лера: с Лёлей было интересней, да и проще общаться, а Лера представлялась Глебу капризной и непредсказуемой. «Словечка в простоте не скажет, все с ужимкой!» – вздыхал иной раз Мих Ник в ответ на очередную эскападу дочери, цитируя «Горе от ума». Потом Глеб не раз думал, что из двух сестер следовало выбрать младшую, но Лёля была тогда еще совсем девочкой, забавной и непосредственной – эдакий длинноногий жеребенок с пышной гривкой волос, настоящая маленькая разбойница. Но выбирать ему, собственно, и не пришлось.

Капризуля Лера выросла и стала очень привлекательной девушкой, так что Глеб невольно заглядывался то на ее стройные ноги, то на белое плечо, с которого все время спадала лямка сарафана, а то и «запускал глазнапа», как выражался Мих Ник, в вырез того же сарафана, не подозревая, что Лера все замечает, потому и лямка спадает с плеча. Летом Лебедевы снимали дачу в ближнем Подмоскowie, и Глеб частенько к ним наведывался, так что мог любоваться Лерой не только в сарафане, но и в купальнике, когда ходили на пруд.

Глеб уже не помнил, как вышло, что они оказались дома с Лерой наедине. Началось все со вполне невинной игры: Лера выхватила у Глеба книгу, которую для него оставил Мих Ник: «Попробуй, отними!». Глеб погнался за ней и поймал, прижав к книжному шкафу. Прижал очень сильно, не рассчитав с разгона. «Поцелуй, тогда отдам!» – сказала Лера. Он потянулся губами к ее щеке, но Лера повернула голову и подставила ему приоткрытый рот. Дальнейшее он помнил смутно и очнулся, когда непоправимое уже произошло. Глеб пребывал в полном смятении, а Лера выглядела как ни в чем не бывало и спокойно вышла навстречу вернувшемуся родителям, на ходу застегивая блузку. За ужином, который не лез ему в глотку, потому что Глеб ощущал себя предателем, нарушившим доверие Мих Ника и Раисы Семеновны, Лера громко произнесла:

– Глеб, ты сам скажешь? Или мне сказать?

И Глебу ничего не оставалось, как тут же попросить у Мих Ника руки его дочери. Произносив положенные слова, он наткнулся на изумленный взгляд Лёли и воровато отвел глаза. Лебедевы страшно обрадовались, и в суеде восклицаний, вопросов и строящихся планов Глеб не сразу заметил, что Лера куда-то исчезла. Потом подошла Лёля и прошептала ему на ухо:

– Пойди к Лере, а то она плачет!

Глеб удивился. Лера действительно плакала и при виде вошедшего Глеба отвернулась.

– Чего ты рыдаешь? – спросил Глеб. – Разве ты не этого хотела?

Лера заплакала еще пуще. Глеб вздохнул, сел рядом и принялся утешать, хотя так толком и не понял, в чем причина ее слез. Надо сказать, что женитьба существенно облегчила Глебу жизнь. Он переехал к Лебедевым – под крыло Раисы Семеновны, и первые несколько лет они с Лерой прожили вполне счастливо, только некоторая неловкость от положения «примака» и навязчивые мысли о том, что его элементарно поймали на крючок, омрачали существование Глеба.

Лера окончила институт, поступила в аспирантуру, он сам защитил кандидатскую и по протекции Мих Ника стал преподавать историю в Педагогическом институте, работая над докторской, а Леру пристроили научным сотрудником в один из московских музеев, где ее почти сразу избрали комсоргом. Глеб с легкой иронией следил за карьерой жены, прекрасно понимая, что она специалист среднего уровня и, что называется, звезд с неба не хватает, поэтому и самоутверждается на поприще общественной работы. Сам он весьма скептически относился ко всей этой партийно-советской дребедени, но принимал правила игры. Лера же, как выяснилось, норовила в этой игре стать ведущей. Глеб так толком и не выяснил всех подробностей произошедшего, но в результате Лериных активных действий уволили одну из старейших сотрудниц, Инессу Матвеевну Метлицкую – единственного в музее специалиста по средневековым рукописям. Глеб когда-то слушал ее лекции – Инесса Матвеевна первая заметила одаренного студента и приняла в нем участие: именно она ввела Глеба в дом Лебедевых. Уволенная Метлицкая с тяжелейшим инфарктом слегла в больницу, а Глеб устроил дома страшный скандал. Лера пыталась оправдаться, но Глеб не стал ее слушать:

– Если она умрет, это будет на твоей совести. Еще счастье, что отец не дожил до такого позора! – воскликнул он напоследок и вышел, хлопнув дверью. Глеб перестал разговаривать с женой и на ночь стал уходить в бывший кабинет Мих Ника. Инесса Матвеевна все-таки умерла, и разобщенность мужа с женой усугубилась: оба тщательно скрывали свой разлад от Раисы Семеновны, которая сильно сдала после смерти мужа. Им всегда было трудно друг с другом,

а Лёля, которая вечно старалась их помирить и сблизить, внезапно вышла замуж за некоего Толика, страшно не нравившегося Глебу: ему казалось, что Лёля достойна лучшего. Продолжалось это почти полгода – Глеб пребывал в мрачности, Лера страдала, но как помириться, оба не знали: Глеб всегда надолго зависал в обидах и раздражении, а Лера не умела подладиться.

Раиса Семеновна скончалась настолько внезапно, что Лёля даже не сразу поверила сестре, рыдающей в трубку телефона: она всего полчаса назад разговаривала с матерью! Эта смерть подкосила всех, но больше всего Леру – через неделю после похорон Лёля позвонила Глебу: «Срочно приезжай домой!» Глеб приехал, раздраженный тем, что пришлось отменить лекцию – дома пахло лекарствами и бедой. Встретившая его Лёля приложила палец к губам и провела Глеба на кухню:

– Не шуми. Она спит.

– Да что случилось-то?!

– Лера пыталась покончить с собой.

– Что? Да ладно! Никогда не поверю. Это манипуляция. Чтобы эта холодная расчетливая сука...

И тут Лёля его ударила. По щеке, очень сильно. Глеб изумился:

– Ты что?

– Не смей так говорить о моей сестре! Это твоя вина! Ты ее довел!

– Я? – растерянно спросил Глеб, потирая щеку.

– Ты! Да, Лера поступила подло, но она давно раскаялась! А ты, как инквизитор, все жаришь ее на медленном огне! Думаешь, она не понимала, что ты остаешься в семье только ради нашей мамы? Она каждый день ждала твоих слов о разводе. С ужасом ждала.

Глеб молчал: он действительно думал о разводе. Лёля тяжело вздохнула и села напротив, вытирая выступившие слезы:

– Ладно, прости, что ударила. Не сдержалась. Просто не ожидала, что ты настолько ничего не понимаешь. Лера, может, и сука, но уж никак не холодная! И не расчетливая. Не знаю, поблагодарит она меня или возненавидит, но я расскажу. Потому что желаю ей счастья. Какая бы ни была, но Лера – моя сестра. Больше у меня никого нет. Ну да, еще Толик. И ты, наверно...

– Лёля, но ты же знаешь, как я к тебе отношусь!

– Молчи. Просто послушай. Помнишь, как ты делал предложение?

– Еще бы, – усмехнулся Глеб.

– Помнишь, Лера плакала? Ты ведь так и не понял, о чем она плачет, правда? Лера прекрасно осознавала, что делает: она тебя хотела, и она тебя получила. А плакала потому, что ты ее не любишь! Потому, что ты за ней не ухаживал, не дарил цветов! Вы не гуляли, взявшись за руки, по бульварам и не целовались под сиренью! Этого у нее не было! И она знала, что не будет уже никогда.

– Но если она понимала, что я не люблю ее, – тогда зачем?

– Но она-то любила! С двенадцати лет! Она с ума по тебе сходила! Она чашку целовала, из которой ты чай пил, она... Она жить без тебя не может.

– Лёля, мне кажется, ты придумываешь... Что-то я не замечал никакой безумной любви...

– Потому что Лера гордая! Нет, так ты ничего не поймешь. Придется начать с детства...

Когда на свет появилась Лера, Раисе Семеновне исполнилось тридцать два, и она считалась «позднородящей». Еще одного ребенка Лебедевы и не ждали, зная о неблагоприятных прогнозах врачей, так что случившаяся через пять лет беременность была воспринята супругами как чудо. Правда, они надеялись на мальчика, но родилась Лёля. Лера восприняла появление сестры как крушение привычного мироздания: пять лет она была центром семьи, любимой и ненаглядной маленькой девочкой, и вдруг в одночасье превратилась в старшую! Лёля

родилась недоношенной и слабенькой, много болела, родители над ней тряслись, а Лере казалось, что она теперь никому не нужна.

Лёля сестру обожала, несмотря на то что Лера всячески ее изводила. Но нрав у Лёли оказался на удивление легкий – она быстро прощала и опять смотрела на сестру с искренним восхищением. Как Лера ни третировала сестренку, ей все больше казалось, что одна только Лёля любит ее и понимает. А Лёля действительно очень хорошо понимала сестру. Как всякий болезненный ребенок, Лёля много времени проводила в размышлениях и фантазиях. Она обладала острым умом и наблюдательностью, читать начала в четыре года и все время сочиняла разные сказочные истории. Лёля рано повзрослела, в отличие от сестры, которая так и осталась вечным подростком.

Закомплексованная, самолюбивая и всегда несчастная, Лера завидовала всем вокруг, а особенно сестре, такой живой, доброжелательной и непосредственной, что ее просто нельзя было не любить. Лёля легко обзаводилась друзьями, училась без малейшего напряжения, хотя порой могла и двойку схватить – но никогда не переживала из-за плохих оценок и ко всему относилась с юмором. Лера не могла себе позволить даже тройку и тратила массу времени на приготовление уроков, потому что страшно боялась оказаться не на высоте: она всегда должна быть самой лучшей! И тогда, может быть, ее тоже полюбят... Но ее не любили. Друзей у Леры было мало – одноклассники считали ее заносчивой и высокомерной, а девочка просто была замкнутой.

Они с сестрой словно жили в разных вселенных: Лёля – в яркой и веселой сказке, а Лера – в мрачном, полном опасностей мире, и как Лёля ни старалась перетащить сестру в свою сказку, у нее ничего не получалось. Лера напоминала сестре жалкого дикобраза, оцетинившегося иглами и ранящего всех вокруг, даже когда никто не нападает, а наоборот, пытаются погладить. Но при этом она ранила и себя – иглы проросли внутрь. Лёля очень рано поняла, что она гораздо способнее сестры и сильнее духом, поэтому взяла ее под защиту – маленький храбрый оруженосец при слабом и нелепом вояке, для которого слишком тяжелы его грозные доспехи. Но со временем доспехи стали второй кожей, так что лишь сестра знала, насколько хрупкое и ранимое существо скрывается под закаленной сталью...

– И вовсе она не расчетливая! – объясняла Лёля. – Лерка, конечно, пытается что-то планировать, но поступает всегда спонтанно. Потом только до нее доходит, что она натворила. И с Инессой так получилось: Лера пошла на поводу у парторга! Ей сказали действовать – она и взяла под козырек...

Пока Лёля рассказывала, Глеб невольно вспоминал разные эпизоды и мелочи, которые вполне подтверждали ее слова, да он и сам давно догадался, что Лерина язвительность – всего лишь защита. Но он и не представлял, что Лере так тяжело живется! Глеб прекрасно помнил, как впервые оказался у Лебедевых – дверь ему открыла Лера, и сейчас он понимал, что его первое впечатление было верным: хрупкая застенчивая девочка, неуверенная в себе и... жаждущая любви. Очень красивая девочка: огромные серо-голубые глаза, светло-русые косы, нежный рот – как бутон цветка. Она смотрела на Глеба с опаской, а он улыбнулся и произнес:

– Здравствуйте, принцесса. Могу я войти в ваш замок?

Лера даже рот открыла от изумления. И страшно покраснела. А Глеб взял ее ручку, поцеловал и щелкнул каблуками, наклонив голову. Он долго звал ее принцессой – к великой радости Лёли, которая тут же принялась играть в королевство и сама назначила себя на должность придворного шута. С Лёлей он подружился мгновенно, а Леру пришлось долго приручать. И если б он только знал, что Лера влюбилась в него в ту же секунду, как увидела! Она с волнением ждала его прихода, наряжалась, распускала волосы и старалась нечаянно попасться на глаза – чтобы Глеб, не дай бог, не подумал, что Лера его караулит! А он и не думал. И не замечал ее маневров, хотя искренне любовался, когда видел.

Взросление Леры было мучительным. Она категорически себе не нравилась, как ни убеждала ее сестра, что она просто красотка: и ноги были не такие, как надо, и пальцы кривые, и волосы дурацкие, и глаза невыразительные, а губы так вообще конец света. Разве сможет Глеб полюбить такую уродину?! Лера безумно переживала, что Глеб вдруг возьмет и женится на какой-то посторонней девушке, хотя у него еще и девушки-то никакой не было. Но он жил в общежитии, а там нравы вольные, и мало ли, вдруг кто покусится на такое сокровище!

Лера с шестнадцати лет начала продумывать планы по завоеванию Глеба. Она замечала его заинтересованные взгляды и с волнением думала: «Может, я ему все-таки нравлюсь?!» Но Глеб ничего не предпринимал, и Лера расстраивалась. Она была существом совершенно неискушенным и к двадцати годам ни разу не целовалась, в отличие от пятнадцатилетней сестры, у которой Лере, сгорая от стыда, пришлось спрашивать про технику поцелуев. Тренировались они на помидорах, но один раз Лёля все-таки поцеловала сестру в губы – чтобы лучше дошло. Теоретически Лера знала, что должно происходить между мужчиной и женщиной, но реальность ее потрясла, хотя она храбро делала вид, что ей все нипочем. Это была чистая импровизация, все получилось само собой: девушка никак не ожидала, что Глеб загорится от одного поцелуя! Лера не помнила себя от счастья, хотя оно было слегка приправлено горечью: Глеб так и не сказал, что любит ее...

Глеб слушал Лёлю, вспоминал, думал и вдруг осознал, что вполне мог прийти сегодня вечером домой и увидеть мертвую Леру! Если бы не Лёля с ее предчувствием! Лёля жила у мужа, но работала вместе с Лерой. В обед она зашла к сестре в отдел, там сказали, что Лера приболела и сегодня не придет. Лёля стала звонить, но безрезультатно – потом выяснилось, что Лера отключила телефон. Лёля внезапно страшно испугалась, сама не зная чего, отпросилась с работы и помчалась к сестре. Открыла дверь своим ключом и застала Леру, когда та допивала последнюю порцию таблеток. Ей удалось вызвать у Леры рвоту, потом Лёля позвонила знакомому врачу, тот приехал, принял необходимые меры...

– Почему ты не вызвала «Скорую»?!

– Ты что, не понимаешь? Лерку отправили бы в психушку, как всякого суицидника! Оно нам надо?! Врач сказал, что доза была убойная. Так что я очень вовремя приехала.

Вот тут Глеб и завалился в обморок. В буквальном смысле – грохнулся на пол, съехав со стула. Так что Лёле пришлось выплеснуть ему в лицо стакан воды. Очухавшись, он заполз обратно на стул, послушно выпил какое-то лекарство, подsunутое Лёлей, и долго сидел, обхватив голову руками. Внутри у него все дрожало.

– Ну ладно, не переживай ты так! – сказала Лёля, с жалостью глядя на мрачного Глеба. – Все ж обошлось! Просто будь с ней поласковой.

– Да, – кивнул Глеб. – Да, конечно. Я пойду к ней?

– Иди. Я, пожалуй, тут переночую. А то кто вас знает! Сейчас Толе позвоню...

Но Глеб уже не слышал – он встал и поплелся к Лере: ноги совершенно не хотели его слушаться. Лера лежала на животе, одна рука бессильно свисала с кровати, одеяло сбилось, обнажая правую ногу и часть бедра в трогательных розовых трусиках. Глеб смотрел и видел совсем не ту Леру, против которой он так долго настраивался, а жалкую девочку, одинокую, потерянную, лишенную любви. А ведь он обещал заботиться о ней! Глеб прикрыл на секунду глаза, потому что даже сердце заболело от мучительного сострадания. Лег рядом с женой – она не проснулась. Он слушал ее неровное дыхание, изнемогал от нежности и чувства вины, а потом, очевидно, задремал, потому что испуганно вскинулся, когда Лера завозилась рядом, всхлипывая и лепеча: «Глеб, Глеб...» Она плакала во сне, и когда Глеб обнял ее, вцепилась в него что есть силы.

– Тихо, тихо, – забормотал Глеб. – Все хорошо! Бедняжка моя... Проснись, дорогая! Это только сон!

Лера очнулась с рыданием, поняла, что рядом муж, и затряслась:

– Глеб! Ты пришел!

А потом они одновременно произнесли: «Прости меня!» – и невольно улыбнулись сквозь слезы. Глеб обнимал жену, целовал ее лицо, дрожащие губы и понимал, что он безумно соскучился. Оказывается, все это время ему страшно не хватало ее ночного присутствия: тепла ее тела, нежного запаха волос и кожи, объятий, прикосновений... Глеб чувствовал неимоверно острое вожделение, замешанное на болезненной жалости и нестерпимой ярости, направленной прежде всего на себя самого – за то, что допустил все это, но и на Леру – за то, что заставила его пережить такое сильное потрясение.

Именно в эту ночь они и сотворили Антошку. Беременность Леры протекала очень тяжело: она мучилась от токсикоза, лежала на сохранении, пережила кесарево, а потом пребывала в послеродовой депрессии. Она плохо управлялась с ребенком: молока у нее почти не было, Антошка все время орал, а шрам на животе только добавлял горечи – мало того, что никудышная мать, так еще и уродина!

Если бы не Лёля, они бы не выжили. Ее брак не продержался и полутора лет, да и какому мужу понравится, что жена постоянно пропадает в доме сестры! Так что Лёля вернулась домой – к всеобщей радости: маленький Антошка ее просто обожал и звал Нёней. Лерина депрессия постепенно прошла, Антошка подрос и стал таким забавным, что все только умилялись, Лера вышла на работу, и через некоторое время ее назначили заведующей отделом – правда, не тем отделом, откуда она выжила Инессу Матвеевну, а совсем другим. Лера как-то внутренне успокоилась и расцвела: еще бы, она впервые была явно успешнее незамужней и бездетной сестры – выяснилось, что Лёля бесплодна.

А у Лёли вдруг начался роман с совершенно неподходящим, как считала Лера, человеком – Глебу же Лёлин избранник скорее нравился. Саша Горелик – небольшого роста, с волосами, словно черное пламя. Глеб дразнил Лёлю: этот, твой – дыбом волоса! Роман был тяжелый и закончился плачевно: Горелик собрался уезжать в Израиль, звал Лёлю с собой, она разрывалась между любовью и семьей, прекрасно понимая, как ее поступок может сказаться на карьерах сестры и зятя. А как это переживет Антошка, к которому Лёля прикипела всем сердцем? В общем, Горелик уехал один, без Лёли. А потом произошло событие, которое чуть было не развалило семью Сотниковых окончательно.

Началось все с переезда: их старый дом шел под снос, жилье предложили где-то у черта на куличках – в Бирюлево! Лера развила бурную деятельность, в результате которой Сотниковы оказались в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной, а у Лёли появилась кооперативная однокомнатная квартирка все в том же Бирюлево. Глеб несколько удивился щедрости Леры, которая добавила сестре денег на кооператив: Лера не отличалась особой щедростью. Конечно, им было тесновато на Фрунзенской, хотя и потолки высокие, и кухня большая, и район хороший. Маленькую комнату отдали Антону, а в большой устроили спальню и кабинет для Глеба – Лера нашла в антикварном магазине старинную ширму, которой отгораживали кровать.

На этой самой кровати Глеб и застал свою жену с любовником. Ситуация была – пошлее не придумаешь! Он на день раньше вернулся из командировки: последние доклады конференции не представляли для него никакого интереса, да и зуб внезапно разболелся, так что Глеб промаялся всю ночь, лежа на верхней полке скорого поезда Ленинград – Москва. Надо сказать, зубная боль прошла тут же, как только он увидел, что происходит в их семейной спальне: Глеб совсем не рассчитывал застать дома жену, которая в это время должна быть на работе! Впрочем, первым делом он увидел со спины мужскую фигуру, ритмическидвигающуюся над распростертым женским телом, и некоторое время оторопело смотрел, разинув рот. Потом громко кашлянул и под отчаянный вскрик жены ушел на кухню. Через некоторое время к нему выползла Лера – любовник позорно сбежал. Они посидели в тягостном молчании, потом Глеб поднялся и пошел к дверям, благо даже пальто снять не успел. «Какая же ты!..» – Он бросил

на ходу грубое слово (Лера тут же зарыдала) и хлопнул дверью. Поехал он к Лёле – а куда еще было ему деваться? По дороге купил бутылку водки и явился к Лёле уже поднабравшимся. Лёля сразу все поняла и, мрачно вздохнув, поставила перед ним стакан, плетенку с хлебом, достала какую-то закуску.

– Значит, ты была в курсе? – спросил Глеб, злобно глядя на Лёлю. – И покрывала ее? Ну давай, расскажи мне, как твоя сестра меня любит! Поведай, какое это нежное и трепетное создание! Что, ты и это одобряешь?

– Не одобряю, – сказала Лёля и налила себе водки. – Да, я случайно узнала. Но не понимала, как лучше: сказать тебе или не говорить. Прости.

– Давно это длится?

– Года два, наверное. Не знаю точно.

– Значит, это началось еще на старой квартире?! А-а! – вдруг догадался Глеб. – Так вот почему она дала тебе денег на кооператив! Плата за молчание?

– Возможно.

Ночевать Глеб остался у Лёли на диване, а утром ни свет ни заря примчалась Лера: отвела сына пораньше в школу и поехала в Бирюлево. Ее появление получилось весьма эффектным: раздался звонок в дверь, а потом крик Лёли:

– Глеб! Да скорей же!

Глеб никак не мог прийти в себя после вчерашнего, мучаясь страшным похмельем, но выглянул в коридор и ахнул: Лёля с трудом удерживала пребывавшую в полуобмороке сестру, по лицу которой текла кровь.

– Что случилось?!

– Там лед... Я упала... Я не нарочно...

И Лера отключилась. Ударилась она сильно – видимо, песцовая шапка слетела при падении, и Глебу пришлось идти ее разыскивать. В другом сугробе валялась Лерина сумка, про которую она вообще забыла. В конце концов ранку на виске промыли перекисью, Леру уложили на кровать, и Лёля все-таки отправилась на работу, строго сказав Глебу на прощание:

– Надеюсь, вы тут не поубиваете друг друга.

Глеб только вздохнул. Он сел на стул рядом с кроватью, где лежала бледная Лера, и спросил:

– Как ты? Не тошнит? Голова не кружится?

– Немножко, – прошептала Лера. – Но я просто испугалась, сотрясения нет, мне кажется.

– В глазах не двоится? Сколько пальцев ты видишь?

Лера взглянула на его оттопыренный указательный палец и чуть усмехнулась:

– Один.

Они долго молчали, потом Глеб спросил:

– Ну и кто он?

– Ты же видел!

– Все, что я видел, – его голая задница. Согласись, что по такой детали трудно опознать человека.

– Это Гена. Геннадий Приступницкий.

– Кто? Генка? Ты, что, лучше не могла найти? Он же лет на пятнадцать тебя моложе.

– На восемь.

– Конечно, это меняет дело! И фамилия-то соответствующая – Преступницкий.

– Пишется через «и». От слова «приступ», а не «преступник».

– Какая разница! И как долго вы...

– Почти два года. Но мы нечасто встречались, правда! Всего раз пять... шесть...

– Ну да, или семь-восемь. И у тебя хватило наглости привести его в наш дом?

– Нет! Это только вчера. Честное слово!

– Что ты знаешь о чести, а? Ты, дрянь!

Глеб грязно выругался и вскочил со стула – Лера испуганно подалась к стенке, но он тут же справился с собой и отошел к окну:

– Рассказывай! – произнес он, не поворачиваясь.

– Знаю, я виновата. Но... Понимаешь, он так влюбился! И я не устояла...

– Влюбился, как же! – раздраженно буркнул Глеб, глядя на снежные хлопья за окном.

– В меня никто никогда не влюблялся.

Голос Леры звучал так печально, что сердце Глеба дрогнуло. «А ведь и правда!» – подумал он и обернулся: Лера сидела на кровати и растерянно смотрела на Глеба. Левая часть лица у нее опухла, а под скулой уже наливался синяк.

– А он цветы дарил, руки целовал... Говорил, что прекрасней меня нет. Что жить без меня не может. Я долго не сдавалась, правда! Даже не знаю, как это вышло... О чем я только думала!

– Ну и как тебе с ним? Нравилось? В постели?

Лера опустила голову:

– Не особенно.

– Тогда почему?

– Я не знала, как это прекратить. Он очень приставучий.

Приставучий! Это детское слово совершенно выбило Глеба из колеи – ярость, копившаяся со вчерашнего дня, иссякла, и он чувствовал какое-то болезненное сострадание, из-за чего страшно на себя злился.

– Господи, какая же ты дура! – воскликнул он, не зная, чего ему хочется больше: врезать ей как следует или... Или обнять и утешить.

– Ну да, дура, – грустно согласилась Лера. – Ты теперь со мной разведешься?

– Я еще не решил. А что ты сама думаешь?

– Гена хочет, чтобы я ушла к нему.

– Ты-то чего хочешь?

– Я хочу быть с тобой.

Лера закрыла лицо руками, потом снова легла и повернулась к стене. Глеб так и стоял у окна, глядя на ее спину, обтянутую пестрым вязаным свитером. Глеб думал, что делать: разводиться? Или простить? Черт побери все на свете! Он представил себе громоздкую процедуру развода и все сопутствующие обстоятельства: уйти ему некуда, значит, надо разменивать квартиру... А что будет с Антошкой? Развод родителей разрушит весь его мир! Но главное, и Глеб это сознавал, он никогда не сможет выкинуть Леру ни из своей жизни, ни из своего сердца. Она мать его сына, вместе они прожили уже... Да почти двадцать лет! И пусть временами Лера его чудовищно раздражала, Глеб всегда чувствовал свою ответственность за жену – ответственность, возложенную на него Мих Ником и Раисой Семеновной, которым он обязан по гроб жизни. В глубине его души навечно запечатлелся образ трогательной девочки с тонкими косичками – как она просияла, когда он назвал ее принцессой!

– Ну ладно, – сказал Глеб, тяжело вздохнув. – Надо ехать домой. Или еще полежишь? Как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

По голосу Леры было понятно, что она все это время беззвучно плакала.

– Я вызову такси.

– Хорошо. – Она встала с кровати. – Глеб, я хотела сказать... Чтобы ты не волновался. Ну, если решишь разводиться. Ты не беспокойся, я ничего с собой не сделаю. Я как-нибудь переживу, правда.

Глеб молча смотрел на жену, потом мрачно произнес:

– Мы не станем разводиться.

Домой они уехали не сразу, потому что оба внезапно ощутили зверский голод, и Глеб кое-как сварганил яичницу-глазунью – у Леры все валялось из рук, и в такси она сразу заснула, потому что предыдущую ночь совсем не спала. По дороге они заехали за сыном, который ужасно этому обрадовался. Синяк матери его впечатлил:

– Ничего себе ты навернулась! Больно, да?

Этот невыносимо длинный день все тянулся и тянулся: как нарочно телефон звонил не умолкая – лаборантка с кафедры, дипломники Глеба, приятели Антона, коллеги Леры, которым внезапно понадобилась ее помощь в каких-то организационных вопросах... Пару раз, как показалось Глебу, звонил пристававший Гена, но Лера, испуганно глянув на мужа, тут же вешала трубку. Она ничем не могла себя занять и либо бродила по квартире как потерянная, либо застывала на одном месте, рассеянно глядя в пространство. А Глеб мучился вопросом: где ему провести ночь? Спать в одной постели с женой ему категорически не хотелось, но, похоже, выхода не было: на кухонном диванчике он просто не поместился бы, идти в комнату сына было невозможно... Достать спальник и устроиться на полу? Это уж слишком. «Ладно, черт с ним! – наконец, решил Глеб. – Надеюсь, она сменила простыни...» Зайдя поздно вечером в спальню, Глеб увидел, что Лера рассматривает в зеркале свое бедро – заметив мужа, она тут же опустила подол ночной рубашки, но Глеб успел увидеть впечатляющий синяк.

– Господи! Ты и ногу ушибла! Надо йодом, что ли, помазать... Сейчас!

Глеб принес йод, опустился на пол и, как Лера ни упиралась, нарисовал ваткой кривоватую йодную сеточку, испачкав себе все пальцы – синяк стал выглядеть просто ужасающе, и Лера потянула вниз ночнушку, чтобы прикрыться. Но Глеб не дал ей это сделать:

– Сними совсем, – велел он.

Его руки сжимали ее бедра – Лера все пыталась повернуться боком, но Глеб развернул ее и притянул поближе:

– Сними, я сказал.

– Глеб... Не надо...

Но он ничего не слушал – закрыл глаза и потянул носом, впитывая ароматы йода, чистого глаженного хлопка, цветочного мыла – и самый главный, сокровенный женский запах, всегда страшно его возбуждавший. Глеб с силой сжал Лерины бедра и припал губами к ее вздрагивавшему животу – Лера тоненько вскрикнула, а Глеб подумал: «Эта женщина принадлежит мне. И будет принадлежать всегда». Он увлек жену на кровать и полночи всеми доступными способами доказывал ей эту простую истину. Утром Лера робко ему улыбнулась – ей пришлось надеть водолазку с высоким горлом, чтобы скрыть след засоса на шее. Глеб долго ее рассматривал: бледная, с тенями под глазами и фингалом на скуле, она все равно притягивала его, как магнитом, и обреченно вздохнув, он шагнул к ней, с силой обнял и поцеловал в губы, словно поставил последнюю точку: «Ты моя».

Но история на этом вовсе не закончилась: пристававший Гена никак не мог смириться и долго донимал Леру звонками и внезапными появлениями, так что в конце концов Глебу пришлось спустить его с лестницы. Да и сам он успокоиться не мог еще очень долго и даже отплатил Лере той же монетой, воспользовавшись первым подвернувшимся случаем, хотя раньше мысль об измене ни разу не приходила ему в голову. Особой радости это ему не доставило, только какое-то мрачное удовлетворение, особенно когда Лера обнаружила следы помады на воротничке его рубашки. Он читал только что вышедший из печати труд коллеги, когда внезапно появилась Лера и предъявила ему рубашку. Глеб взглянул, поморщился и спросил:

– Какие-то проблемы?

Лера мрачно на него посмотрела и вышла, произнеся:

– И чем же ты лучше меня?

«Да ничем!» – злобно подумал он: ему вдруг стало невыносимо тошно. Ночью Лера впервые в жизни попыталась отказать Глебу в близости, но у нее ничего не вышло: Глеб пересилил

ее и взял свое – правда, кто кого победил, неизвестно, потому что Лера в результате испытала такую мощную чувственную встряску, что в самый острый момент чуть не потеряла сознание. Как ни странно, она стала получать максимум удовольствия от секса именно сейчас, когда они с Глебом так отделились друг от друга: обоюдная измена словно подбросила дров в их костер. Их супружеская жизнь превратилась в баталию: днем побеждала Лера, которая стала еще более язвительной, а ночью Глеб яростно доказывал ей, кто в доме хозяин. Так что секса было в избытке, но любовью тут и не пахло. Со временем чувственный жар поутих – возраст брал свое, да и Глеб притерпелся к ворчанию Леры и научился пропускать ее шпильки мимо ушей.

Они с размахом отметили пятидесятилетие Глеба – он слегка полысел, отпустил усы с бородкой и смотрелся весьма импозантно, а Лера, хотя еще не достигла роковых сорока пяти, выглядела в полном соответствии с пословицей про ягоду: она рано поседела, но сияющие голубоватой белизной волосы удивительным образом ее молодили, подчеркивая свежесть умело подкрашенного лица. Антон перешел в десятый класс и вымахал под метр восемьдесят. Глеб редко бывал доволен сыном, который казался ему безалаберным, легкомысленным и самовлюбленным эгоистом, но не признавал, что главная причина недовольства в том, что Антон слишком похож на мать.

Лёля за это время завела очередной бесперспективный роман, на этот раз с женатым человеком. Эти непростые отношения вдруг пробудили в ней писательский талант, и Глеб не без удивления прочел Лёлину повесть, напечатанную в одном из толстых журналов – совсем не его жанр (он предпочитал детективы), но очень даже неплохо. Глеб пару раз видел Лёлиного возлюбленного, которого звали Леонидом, – высокий седой мужчина, явно старше ее. Они так трепетно относились друг к другу, что Глеб часто вспоминал эту парочку и даже слегка им завидовал.

А потом в его жизни появилась Саша.

В детстве за сестрами ухаживала няня, которую Глеб уже не застал, но пару раз видел: маленькая старушка, одевавшаяся во все зеленое – девочки называли Агафью Степановну «няня Травка». Агафья Степановна, как понял Глеб, была существом необычайно кротким и незлобивым, а ее страсть к зеленому цвету образовалась в юности, когда некий молодой человек, предмет Агашиной безответной любви, заметил, что к ее рыжим волосам очень подходит лента оттенка молодой травы. С тех пор Агаша совершенно поседела, а зелени в ее нарядах сильно прибавилось, так что среди московской серой толпы она производила очень сильное впечатление, заставляя прохожих оглядываться.

Лёля часто навещала «няню Травку», жившую в крошечной квартирке бывшего дома Ливерса на Плющихе, а как-то осенью в гости к Агафье Степановне отправились и Лера с Антоном: кажется, у старушки был юбилей. Но гости оказались перед запертой дверью, а выглянувшая из соседней квартиры девушка сказала, что Агафья Степановна уже месяц как умерла, и пригласила их к себе на чай. Лёля потом долго сокрушалась, что так и не простилась с няней, Лера же возмущалась, почему им никто не сообщил. А Антону понравилась девушка-соседка. Сам он с отцом, конечно же, не поделился – отношения у них были весьма прохладные, как, впрочем, и с матерью: душу Антон изливал вырастившей его Лёле, которую по детской привычке до сих пор называл Нёня.

Лёля и рассказала Глебу про Сашу Чёрникову: скромная, красивая, доброжелательная, воспитанная. Просто тургеневская девушка! Глеб сначала скептически хмыкнул: уж он-то посмотрелся на этих «тургеневских девушек» у себя в институте. Но когда Саша появилась у них в доме, он согласился с Лёлей. В Александре и правда было нечто пленительно-старомодное: изящество, грация, сдержанность, скромность. Темные вьющиеся волосы, выразительные глаза с длинными ресницами, нежный, всегда чуть улыбающийся рот... В школе Сашу прозвали Чернйкой, и действительно, ее глаза по цвету как раз напоминали эту лесную ягоду. Как

ни странно, Саша понравилась даже Лере. Правда, она скептически отнеслась к увлечению Антона:

– Ничего серьезного. Перерастет. Повзрослеет, мы ему подберем подходящую партию.

– А Саша-то чем не подходит? – удивился Глеб.

– Ты бы видел ее мать.

– Что не так с ее матерью? – спросил Глеб, начиная раздражаться: его удручало стремление жены изображать из себя «белую кость, голубую кровь».

– Очень странная особа.

Лёля тоже признала, что мать Саши показалась ей мрачной и желчной: «Бедная девочка. Наверное, нелегко ей приходится. Да и живут они небогато». Потом, присмотревшись к Саше получше, Глеб понял, что она умная, наблюдательная, весьма начитанная, искренняя, к тому же удивительно самостоятельная и взрослая, особенно по сравнению с довольно инфантильным Антоном. И у Саши было поразительное для столь юной девушки чувство собственного достоинства.

– Она цельная, сложившаяся личность, – сказала Лёля. – Знаешь, кого Саша мне напоминает? Татьяну Ларину. Помнишь: «Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей... Все тихо, просто было в ней».

Через пару месяцев Саша пригласила Антона с Лёлей к себе на день рождения – вернее, пригласила Антона, который уговорил Лёлю пойти с ним: несмотря на присущую ему самоуверенность, Антон побаивался Тамары Васильевны, матери Саши. Вернулся он с праздника мрачнее тучи. Лёля, посмеиваясь, рассказывала Глебу:

– Антошка-то думал, что осчастливил Сашу – как же, принц на белом коне! Но она совсем не Золушка. Во-первых, они собрали роскошный стол, причем половину блюд готовила Саша. Какие пироги подали, пальчики оближешь! Во-вторых, гостей было человек двадцать, еле уместились. Взрослых семеро, остальные – молодежь, и мальчиков больше, чем девочек. Так что нашего Антона потихоньку задвинули в уголок. А мама Сашина – невероятно артистичная особа. У нее потрясающий голос – совершенно оперное контральто. Она нам такой концерт устроила! И Саша ей подпевала. Голос у Саши послабее, чем у матери, но мне Сашино исполнение даже больше понравилось. И на гитаре она играет вполне профессионально. Удивительная семья! Якобы у них в предках есть князь, женившийся на таборной цыганке – отсюда и певческие таланты. В Сашиной матери и впрямь что-то цыганское проглядывает, мне кажется...

– А кто у Саши отец?

– Не знаю. Я так поняла, что он их давно бросил.

Саша стала частой гостьей в доме Сотниковых, и Глеб, со снисходительным умилением наблюдая, как растет влюбленность его сына, не сразу понял, что происходит с ним самим: вдруг оказалось, что он как бы чувствует Сашу на расстоянии! Подходя к телефону, он знал, что услышит в трубке ее голос, а когда просыпался поутру в необыкновенно радостном состоянии духа, то уже понимал, что непременно увидится с Александрой. Осознал это Глеб, когда почувствовал внезапный всплеск радости, выходя из метро «Парк культуры», а шагов через десять наткнулся на Сашу, стоявшую на остановке троллейбуса вместе со своей мамой. Тогда Глеб впервые увидел Тамару Васильевну, поразившую его своей мрачной красотой, в которой действительно было нечто цыганское, и подумал, что Саше, должно быть, тяжело существовать рядом с таким глубоко несчастным и озлобленным человеком.

Потом Глеб внезапно изменил маршрут своих прогулок, оправдываясь тем, что ему надо больше двигаться: обычно утром он ходил в институт по Хамовническому валу, сворачивая у Новодевичьего кладбища, а вечером – в обратном направлении, теперь же стал возвращаться по Большой Пироговке, выбираясь потом переулками к Комсомольскому проспекту и набережной. Это было в два раза дольше, зато так он мог нечаянно встретить Сашу на Девичке и

перекинуться с ней парой слов – несколько раз она даже провожала его до метро «Фрунзенская».

В начале января Сотниковы традиционно устраивали большой праздник, отмечая сразу Новый год и два дня рождения: Глеба и Антона, которые родились рядышком: Глеб – пятого января, а Антон – шестого, поэтому торжество обычно намечали на седьмое, приурочивая к Рождеству, чтобы никому не было обидно. Праздником, как всегда, занималась Лера, а Глеб привычно ужасался количеству гостей:

– А Иваненко ты зачем пригласила?

– Ну как же! Он всегда работает в Приемной комиссии!

Глеб только поморщился: Антону в этом году предстояло поступать в институт, и Лера, зная, что отец палец о палец не ударит ради продвижения сына, уже предпринимала рекогносцировки в заданном направлении – конечно, Антон должен был учиться именно там, где преподает отец, хотя никаких особенных педагогических талантов у мальчика не наблюдалось. Антон уговорил и Сашу – она сама подумывала о том же, тем более что Пединститут находился в двух шагах от ее дома, но колебалась между филфаком и истфаком.

– Не забудь про Сашу, – сказал Глеб жене, и Лера удивленно подняла брови:

– С какой стати мы должны ее приглашать?

– Вообще-то она девушка нашего сына, – разозлился Глеб. – Как мы можем ее не позвать?

– Ой, да ладно! У него этих девушек еще вагон будет! Или что? Они уже переспали?

У Глеба даже виски заломило от ненависти:

– Саша не из тех девушек, что сразу прыгают в постель к парню, – отрезал он.

Лера только фыркнула, но Саша все-таки была приглашена. Она пришла не с пустыми руками: Антон с Глебом получили в подарок по затейливо связанному шарфу, а Лёле с Лерой достались необыкновенной красоты узорные варежки, над которыми Лёля тут же восторженно разахалась, уверяя, что не видела ничего подобного даже в художественных салонах. Саша только скромно улыбнулась, а Антон потом рассказал отцу, что Саша с Тамарой Васильевной как раз и работают для одного из таких салонов:

– Только ты маме не говори. А то она какую-нибудь гадость ляпнет.

Сын, похоже, тоже был не в восторге от материнского снобизма. Глеб с удовольствием наблюдал за Сашей, которая вела себя очень просто и естественно, а когда Лёля попросила ее спеть, не стала ломаться, а сразу согласилась:

– Хорошо, только без гитары мне будет трудно.

Но гитара тут же нашлась – Антон заблаговременно достал ее с антресолей. Гитара была старинная, принадлежала еще отцу Мих Ника, и Саша с почтением взяла ее в руки. Настроила и задумалась: что же выбрать? Глеб посмотрел на выразительное Сашино лицо и вдруг понял: он знает, что Саша будет петь. И точно – Саша чуть улыбнулась и запела:

Я понапрасну ждал
Тебя в тот вечер, дорогая.
С тех пор узнал я, что чужая
Ты для меня.
Хотелось счастье
Мне с тобой найти,
Но, очевидно,
Нам не по пути.

Голос Саши был словно старше ее самой, и пела она чуть отстраненно, как бы показывая романс, а не растворяясь в нем:

Мне бесконечно жаль
Своих несбывшихся мечтаний,
И только боль воспоминаний
Гнетет меня...

«Какая боль воспоминаний может быть у этого ребенка? – думал Глеб, любясь Сашей. – А ведь как проникновенно поет!»

– Браво! – с некоторым удивлением в голосе воскликнула Лера. – Браво!

– Сашенька, вы чудо! – поддержала ее Лёля.

Саша засмеялась:

– Спасибо!

– Еще спойте! Пожалуйста! – загомонили гости, и Саша взяла новый аккорд. Она пела романс за романсом – Глеб слушал, время от времени закрывая глаза, и тогда голос Саши действовал сильнее, омывал его душу теплым светом, проникая в такие глубины, о которых он и сам не подозревал. Его все сильнее и сильнее охватывало ощущение полной нереальности происходящего – казалось, что есть только он и Саша, только ее голос, ее хрупкость, нежность, чистота и страсть...

Все так же ломился от закусок стол, звякали приборы, кто-то потихоньку закусывал, кто-то опрокидывал стопочку, Лера хозяйственно оглядывала застолье, Антон смотрел на Сашу, а сидевшая рядом Лёля быстро взглянула на Глеба и тут же отвернулась. Все было прежним, только сам Глеб стал другим. Вдруг Лера сказала – и Глеб невольно поморщился от звука ее голоса:

– Друзья, хорошенького понемножку. Еще одну, последнюю – да, Сашенька? А потом будем пить чай! Зря я, что ли, полдня с торгом возилась!

– Это стихи Цветаевой, – прошептала Глебу Лёля, когда Саша запела:

Нет, с тобой, дружочек чудный,
Не делиться мне досугом.
Я сдружилась с новым другом,
С новым другом, с сыном блудным.
У тебя дворцы – палаты,
У него леса – пустыни,
У тебя войска – солдаты,
У него – пески морские...

Никогда раньше не слышал Глеб этой песни, и она оказалась последним камушком, сдвинувшим лавину: мир рухнул и никогда не станет прежним. Саша допела, и все засуетились: молодежь унеслась в комнату Антона, Лера принялась убирать со стола и готовить чай, а гости разбрелись кто куда. Глеб ушел на лестничную площадку покурить и подумать в одиночестве – даже спустился этажом ниже, чтобы никто из гостей не побеспокоил, но не думалось: в голове крутились последние строчки Сашиной песни: «Он глаза мои увидел – и войска свои покинул». Именно это Глеб и чувствовал. Да, глаза у нее колдовские, черничные! За ними можно пойти через все леса, пустыни и пески морские... А войска пусть как хотят. Потом рядом с ним материализовалась Лёля – подошла, заглянула в лицо.

– Что? – спросил он с раздражением. – Что ты смотришь?

– Гле-еб, – нежно произнесла Лёля. – Бедный Глеб.

– Неужели так заметно?

– Не думаю. Все смотрели на Сашу. А я почувствовала.

– И что мне теперь делать? Как жить?

– Как получится. Только постарайся, чтобы Лера не поняла, а то она тебя изведет.

Глеб горько усмехнулся:

– Да уж!

Потом пили чай, дружно хвалили Лерин торт, действительно необыкновенный. Гости стали потихоньку расходиться, уехала на такси Лёля, Антон пошел провожать Сашу, Лера домывала посуду, а Глеб сложил раздвижной стол, вынес его в коридор, потом разобрал постель и подошел к окну, чтобы закрыть форточку. На подоконнике за шторой вдруг обнаружилась бутылка, в которой оставалась еще почти треть водки – Глеб посмотрел-посмотрел, взял бутылку, допил все прямо из горла, а потом прилег, не раздеваясь, на кровать и тут же вырубился: он и так довольно много выпил за этот вечер. Лера попыталась было его поднять, но не смогла и только накрыла пледом, а сама отправилась на кухню – ждать возвращения сына.

Ближе к утру Глебу приснился сон, который напоминал фрагмент цветного кинофильма: он жил совсем в другой квартире, полной каких-то уютных старинных предметов – «камера» на мгновение четко показала пузатенький комод с инкрустацией, на котором стояли фарфоровая ваза с розами и приоткрытая шкатулка, где что-то заманчиво поблескивало; потом женский портрет в золоченой раме и зеркало – Глеб увидел свое отражение и понял, что гораздо моложе себя нынешнего. Он прошел в небольшую комнату и сел к письменному столу, тоже старинному, с множеством ящичков. Стол был покрыт зеленым сукном и толстым стеклом. В комнате царил полумрак, поэтому горела настольная лампа с круглым зеленым абажуром, но за окном сияло солнце, и хотя видно было только синее небо с легкими облачками, почему-то было понятно, что там море.

В комнату вошла Саша – она была гораздо старше, чем в реальности. Саша отодвинула бумаги, лежавшие перед Глебом, постелила белую салфетку и поставила стакан с чаем в серебряном подстаканнике, потом взъерошила Глебу волосы и поцеловала в щеку. Глеб обнял Сашу за талию, увлек к себе на колени, несколько раз поцеловал ее улыбающиеся губы, нежную шею и, расстегнув перламутровые пуговицы кружевной блузки, добрался до теплой ложбинки на груди. Саша рассмеялась, вырвалась из его объятий и ушла на балкон: она читала книгу, медленно покачиваясь в плетеном кресле-качалке, и ела яблоко, время от времени поправляя распущенные волосы, которые сбивал ветер. Глеб смотрел на нее и испытывал такое неимоверное, такое неистовое счастье, что даже схватывало сердце...

Он проснулся, но долго не открывал глаза, надеясь удержать это удивительное чувство, и перебирал в памяти все подробности сна. Он все еще ощущал вкус Сашиных губ и аромат ее теплого тела, чуть влажного от пота. Это было чувственное и одновременно необычайно целомудренное переживание – ничего общего с тем жаром вожделения, который Глеб испытывал к Лере. «Это любовь – вот что это такое! Разве ты сам не понимаешь?» – прозвучал у него в голове тихий голос Саши, и он повторил про себя: «Любовь...»

Глеб тихо поднялся – спать он больше не мог. Вышел на кухню, посмотрел на часы – было около четырех. Попил из чайника – прямо из носика, нашел сигареты. Почти пять часов, пока не встали Лера с Антоном, он провел на кухне: ходил из угла в угол, словно заключенный в камере, курил в форточку, доел последний кусок Лериного торта, выпил целый пакет яблочного сока, обнаруженного в холодильнике, и думал. В конце концов, он смирился. Что ему сказала Лёля? Жить, как получится? Что ж, только это Глебу и оставалось. И дело было даже не в том, что Саша – девушка его сына и по возрасту годится Глебу в дочери! Глеб не мог не осознавать, что чувство его безответно и безнадежно. Не стоило ни на что надеяться и ни о чем мечтать. Да и достоин ли он любви такой необыкновенной, прекрасной и чистой девушки, как Александра?! Глеб старался понять, вынесет ли, если Антон с Сашей решат пожениться – говорить об этом, конечно, еще рано, пусть сначала получают образование, но все-таки! С одной стороны, тогда он сможет часто видеться с Сашей, а с другой... Нет, об этом лучше не думать.

Тут на кухню вышла проснувшаяся Лера, увидела Глеба, потом странный натюрморт на столе и изумилась: пепельница с грудой окурков, блюдце с крошками торта, пустой пакет из-под сока и горка мандариновых шкурок – мандарины Глеб тоже машинально доел.

– Ты давно встал? А я-то думала, проспишь до полудня...

– Ну да, что-то не спалось, – сказал Глеб и поспешно поднялся, не в силах разговаривать с женой. – Пойду-ка я прогуляюсь, пожалуй.

– Мусор захвати! – крикнула ему вслед Лера, зажигая газ.

Глеб захватил. Потом прогулялся – конечно, на Плющиху. Он не знал, в каком из бывших домов Ливерса живет Саша, поэтому обошел их все и постоял в каждом дворе, сам не зная зачем. Поплелся обратно. Ощущение счастья выветрилось окончательно, и душу заполнила тоска, и с ней – он знал – теперь придется существовать всю жизнь.

Оказалось, что у этой тоски есть имя, о чем Глебу рассказала Лёля, которая знала все на свете. С ней одной Глеб мог разговаривать о Саше. Когда совсем становилось невмоготу, он приезжал в Бирюлево, и они с Лёлей устраивали праздник саудади. Так именовалось на португальском языке сложное чувство, хорошо знакомое обоим, которое объединяло в себе светлую печаль, сожаления по утраченному, тоску по несбывшемуся и ощущение мимолетности счастья.

К этому времени Лёля уже не встречалась со своим Леонидом, хотя любила его по-прежнему: жизнь как-то растащила их в разные стороны. Писательство стало ее отдушиной, и Глеб иногда завидовал Лёле, способной проживать множество жизней вместе со своими героями.

Антон и Саша окончили школу и поступили в Пединститут – Антон на платное дневное отделение, а Саша на бюджетное вечернее. Днем она работала в районной библиотеке – совсем рядышком, на Новодевичьем проезде, напротив пруда. Глеб теперь встречался с Сашей гораздо чаще: он читал лекции второму курсу вечерников, в первом семестре следующего года вел у них семинар, так что обязательно виделся с Сашей раз в неделю и иногда провожал ее до Плющихи, стараясь не злоупотреблять, чтобы девушка ничего не заподозрила. Потом он предложил Александре писать диплом под его руководством, и она согласилась – это были самые счастливые два года в жизни Глеба, потому что у него появились все законные основания звонить Саше и вызывать на консультации. Но за пару месяцев до защиты диплома внезапно выяснилось, что Саша с Антоном расстались – Глеб не сразу заметил, что Саша перестала бывать у них дома, он и Антона-то редко видел.

– Как расстались? – поразился Глеб.

Саша пожала плечами:

– Да так. Он теперь с другой девушкой встречается. С Ксюшей Дорошенко.

– Ах, вот оно что...

Ксюша была дочерью нового русского, известного предпринимателя – реклама молочных товаров Дорошенко лезла в глаза отовсюду. Глебу стало стыдно за Антона:

– Мне так жаль, Сашенька, что мой сын причинил вам боль.

– Ну, могло быть и хуже.

Саша быстро взглянула на Глеба и чуть покраснела – Глеб догадался: между ними не было физической близости. Эта мысль привела его в восторг, и только на следующий день Глеб осознал, чем ему грозит разрыв Антона и Саши: девушка больше никогда не придет к ним домой. Так Глебу пришлось спуститься на следующий круг смирения: он убеждал себя, что их дружеская связь все равно не оборвется – Глеб знал, как тепло Саша к нему относится. Правда, это было совсем не то тепло, о котором он мечтал. Глеб старательно загонял свою тоску вглубь – мало помогали и разговоры с Лёлей, и рюмочка коньяка, принятая на ночь, и научные занятия... Да и кому она теперь нужна, его наука!

День икс неумолимо приближался, и Глеб сделался страшно раздражителен, так что Лера с Антоном старались не попадаться отцу под горячую руку. Надо сказать, что Лера вообще

вдруг сильно смягчилась и совсем перестала скандалить с мужем. Правда, он этого не заметил. Наконец, Саша защитилась. Глеб посидел немного на кафедре со своими дипломниками, потом потихоньку сбежал, но в коридоре его догнала Саша:

– Глеб Алексеевич, вы уже уходите? Как жалко.

Глеб смотрел на Сашино лицо – счастливое, освобожденное и одновременно по-детски расстроенное и старательно улыбался:

– Сашенька, вы большая умница. Поздравляю вас! Жаль, что вы не хотите пойти в аспирантуру.

Это был его запасной план: убедить Сашу поступить в аспирантуру или, как вариант, подобрать ей должность в институте, хоть в той же библиотеке. Но Саша уже нашла место учительницы в частной гимназии:

– Нет, Глеб Алексеевич, это не для меня. Спасибо вам огромное – за все. Вы так много для меня сделали, и я даже не знаю, как теперь буду обходиться без вас.

– Ну, Сашенька, существует же телефон. И ничто не может нам помешать иной раз прогуляться по привычному маршруту.

– Да, конечно. Спасибо. Я так рада, что вы есть в моей жизни!

Саша как-то подалась к нему, и Глебу показалось, что девушка сейчас его поцелует – но Саша не осмелилась. Все, что она говорила, было только солью на раны Глеба: ничего, кроме уважения и дочерней привязанности, не звучало в ее словах. Они расстались, и Глеб с новой силой принялся укрощать свою тоску: ему казалось, что внутри у него постепенно намерзает ледяная глыба. Глеб решил, что подождет месяц... Нет, два месяца! А потом позвонит. Будет законный повод: надо же узнать, как ей работает на новом месте. И он был совершенно не готов однажды вечером увидеть Сашу у входа в институт – всего через одиннадцать дней после разлуки. Разумеется, он считал дни! Давно начал, пытаясь определить, сколько времени может выдержать без Саши – до сих пор рекорд составлял тридцать девять дней. Саша была очень оживлена и говорлива – Глеб пригляделся к ней и понял, что девушка слегка под хмельком:

– Ну да, я сегодня отвальную устраивала. Последний день отработала. Потом отпуск, а с середины августа я уже в гимназии. Волнуюсь что-то!

– Я думаю, вы прекрасно справитесь. Как планируете провести отпуск?

– Хочется съездить куда-нибудь. Но денег маловато, конечно. Может, в Крым с девчонками махнем – дикарями, на недельку.

– На недельку – это маловато.

– Дольше не получится. С мамой проблемы, да и вообще... В конце концов, я всегда могу съездить к маминой подруге на дачу! Это за Переделкино. Там очень красиво и сад роскошный. Она постоянно нас зазывает...

Незаметно они добрались до Девички и присели на скамейку. Саша разговорилась – видно было, что ей не хочется расставаться с Глебом Алексеевичем, а он слушал и наслаждался неожиданным счастьем.

– Вы знаете, мне сначала у вас так понравилось! – говорила Саша, доверчиво глядя на Глеба. – Я подумала: какой теплый дом! Ведь мы с мамой только вдвоем, а у нее характер тяжелый. Папа ушел, когда мне лет десять было, но я его даже не виню, правда. Маму трудно выдерживать. Я-то ведь не могу с ней развестись. А потом я поняла, что у вас тоже не все гладко. Глеб Алексеевич, почему вы ее не оставили?

– Кого? – изумился Глеб, совершенно не ожидавший такого поворота в разговоре.

– Валерию Михайловну.

– Почему я должен был ее оставить? Она моя жена, у нас сын.

– Да я понимаю – семья, ребенок, но... Я все время возмущалась: она же совсем вас не ценит, не уважает и обращается с вами просто ужасно. Неужели вы до сих пор ее любите?

– Господи... Я даже не думал, что вы принимаете это так близко к сердцу! На самом деле все обстоит немного иначе, чем вам представляется.

– Конечно, это совсем не мое дело, но мне казалось, что вы несчастны, и я ужасно переживала. Особенно когда еще думала, что мы сможем породниться. Я сомневалась, что уживусь с Валерией Михайловной. Смешно, конечно, но я мечтала, чтобы вы встретили женщину, которая сделает вас счастливым. Даже пыталась немножко поколдовать! Мы с мамой знаем разные заговоры – правда, я не сильно в это верю, но вдруг оно и правда работает...

Глеб смотрел в Сашины черничные глаза и медленно умирал, раздираемый противоречивыми чувствами, потом решился и очень тихо произнес:

– Я встретил такую женщину. Это вы, Саша.

Он тут же пожалел о сказанном, потому что Саша явно удивилась, ахнула и закрыла лицо руками.

– Господи, какая же я дура! – пробормотала она. – Непоправимая дура! Безмозглая идиотка!

Глеб молчал. Саша убрала руки – глаза ее были полны слез:

– Простите, простите меня, Глеб Алексеевич! Ради бога, простите! Я ничего, ничего не понимала. Я люблю вас, очень сильно люблю! Но... Совсем не так, как вам хотелось бы. Вы знаете, мы ведь с Антоном именно поэтому так долго продержались: я не могла представить своей жизни без вас! А в нем я давно разочаровалась.

– Сашенька, я все понимаю. Я никогда ни на что не надеялся. Не надо мне было говорить. Простите.

– Глеб Алексеевич, а вдруг мы с вами встретимся в следующей жизни? И тогда все получится.

– Да, пожалуй, все надежды только на следующую жизнь, – невесело усмехнулся Глеб, понимая, что Саша пытается его утешить.

– Представляете, вам двадцать, а мне...

– А вам вдруг семьдесят!

– Да, об этом я не подумала... Это еще более безнадежная ситуация...

– Но даже в этой безнадежной ситуации я буду любить вас так же сильно, как сейчас.

Саша опустила голову – оба не знали, что еще сказать и долго сидели в тягостном молчании. Потом Саша взглянула на Глеба и грустно произнесла:

– Глеб Алексеевич, я думаю, нам не стоит больше видеться. Это очень горько, но иначе нельзя. Ответить на ваши чувства я не могу. Вы для меня как отец! Больше, чем отец. А видеть вас и знать, что вы страдаете из-за меня... Нет, я этого не выдержу. Простите меня.

– Что ж... вероятно... вы правы...

Боль, которую испытывал Глеб, была так сильна, что он даже дышал с трудом. Саша смотрела с состраданием, потом протянула руку и коснулась его щеки. Глеб закрыл глаза. И тогда Саша быстро поцеловала его в губы – сердце Глеба остановилось, а потом словно раскололось на множество мелких и острых осколков. Когда он пришел в себя, Саши уже не было.

Глеб долго сидел на этой скамейке, не в силах подняться. Он наконец осознал, что все это время благополучно обманывал себя: в самом дальнем и потаенном уголке его души жила крошечная, слабая и хрупкая надежда. А теперь она умерла, и Глеб вместе с ней. Эта мысль принесла даже какое-то облегчение: раз он больше не принадлежит к миру живых, значит, преграда между ним и его любовью непреодолима. Он будет существовать по другую сторону стены, разделяющей живых и мертвых, в полной тьме...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.